

**Pavel Polian (Freiburg/Moskwa)**

# ЛЕЙБ ЛАНГФУС: ВЫСЕЛЕНИЕ (Публикация, перевод с немецкого, предисловие и примечания Павла Поляна)

## РАВВИН В АДУ

То, что в годы немецкой оккупации Польши называлось регирунгсбецирком (административны округом) Цихенау, было до этого частью исторической польской Мазовии и северной частью Варшавского воеводства (до 1920 – частью Царства Польского, то есть России). 8 октября 1939 года декретом Гитлера округ Цихенау был официально присоединен к Восточной Пруссии<sup>1</sup>, а позднее в нацистском обиходе его даже стали называть Юго-Восточной Пруссией.

Когда 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, эта территория была завоевана с севера – из Восточной Пруссии – и буквально за несколько дней. Вслед за вермахтом пришли и СС и СД, в частности, айнзатцгруппа V под руководством Эрнста Дамцого. Существенно, что эсдэшники носили практически такую же форму, что и вермахт (все отличие – в нашивке на рукаве), отчего многие и воспринимали их усилия как заслугу регулярной армии. Те, впрочем, вели себя не настолько лучше, чтобы так уж настаивать на этом различии.

Географически аннексия Цихенау (по-польски Цеханува) как бы оправдывалось непосредственным примыканием к Пруссии, но демо-этнически это была никак не немецкая земля: из почти миллиона жителей округа немцев было не более 1%! - всего 11 тысяч, тогда как поляков – 900 тысяч. Но в том, чтобы радикально изменить это соотношение, и был лейтмотив Гитлера.

Недостающие 80 тысяч жителей – это евреи, впервые появившиеся в этих местах еще в первой половине XIII века<sup>2</sup>. Жили они почти сплошь в 32 городах и городках округа, традиционно занимаясь торговлей и ремеслом. Доставалось им и перед войной – от местных националистов-поляков, призывавших, по немецкому образцу, к бойкоту еврейских товаров, но большинство поляков этого совершенно не поддерживало: одним словом – «антисемитизм в норме».

<sup>1</sup> Erlass des Führers und Reichskanzlers über Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete vom 8.10.1939 (Reichsgesetzblatt 1939 I. S.2042). Это, конечно, чистое совпадение, но в тот же день Гимmlера назначили Рейхскомиссаром по укреплению немецкой народности.

<sup>2</sup> Еврейская община Плоцка – одна из старейших в Польше.

В сентябре 1939 года на штыках вермахта и СС сюда пожаловал уже совсем другой антисемитизм – немецкий: систематический и государственный. Во многих северомазовецких городах были сожжены синагоги и еврейские библиотеки (в частности, и в Млаве). И уже 4 сентября пролилась первая еврейская кровь: в Пултуске – городке к югу от Цеханува – евреев буквально загоняли в Нарев, заставляя переплывать реку и стреляя по пловущим. К 22 сентября Пултуск полностью избавился от евреев.

Не дремали и энтузиасты из местных немцев – их специализацией и ролю был креативный садизм: так, в Нови-Дворе они потребовали от евреев самим сжечь свитки торы и при этом еще петь и танцевать. Натолкнувшись на отказ, они расстреляли дерзцов.

До 21 сентября все это было до известной степени самодеятельностью, впрочем, разрешенной самодеятельностью. В этот день в РСХА состоялось совещание по «еврейскому вопросу» на Востоке, после которого Гейдрих издал циркуляр, регулирующий «еврейскую миграционную политику» в Польше и разослал его всем айнзатц-группам. Собственно говоря, это больше чем текущий циркуляр – это долговременная программа: еще не уничтожения евреев (это конечная и неназванная цель!), а целенаправленная подготовка к нему.

Этапами этого многотрудного пути в РСХА виделись: 1) на всей подконтрольной Рейху территории – концентрация евреев из сельской местности в городах, по возможности, в крупных; 2) в немецких областях на востоке, как в старых, так и в аннексированных – депортация евреев за их пределы или, по крайней мере, концентрация их в нескольких больших городах; 3) в не-немецких областях – ликвидация всех общин с числом членов менее 500 и перевод их в близлежащие города, имеющие железнодорожное сообщение; 4) на всей подконтрольной Рейху территории – формирование юденратов и проведение «переписей» наличных евреев<sup>3</sup>.

В первой очереди избавления от евреев оказались городки Пултуск, Говорово, Нови-Двор и Остроленка. Последний находился прямо у демаркационной линии с СССР, и евреев, которые пытались проникнуть через этот рубеж на запад, негостеприимные немцы расстреливали на месте или отправляли в тюрьму<sup>4</sup>. И то: ведь рвались они не в какую-то задрипанную Польшу и даже не в Генерал-Губернаторство, а в самый Рейх! Зато еврейское население округа Цихенау – при всей бесконечности своего бесправия – на какое-то время и неожиданно-негаданно стало частицей немецкого государства и немецкого «права» в его преломлении к еврейству.

Впрочем, многие евреи из округа Цихенау, не разобравшись, добровольно бежали и на юг – в соседнюю Варшаву. Со временем, осознав, что там еще хуже, иные из них пробовали проскользнуть обратно в свои мазовецко-немецкие городки.

<sup>3</sup> Фашизм – гетто – массовые убийства. Документы об уничтожении и сопротивлении евреев в Польше во время Второй мировой войны. Берлин, 1960. С.37-41.

<sup>4</sup> См.: Schulz A., *Regierungsbezirk Zichenau // Das „Großdeutsche Reich“ und die Juden: nationalsozialistische Verfolgung in den „angegliederten“ Gebieten* /, W. Gruner, J.Osterloh (Hg.). Frankfurt am Main [u.a.]: Campus-Verl., 2010.

Холокост – это помещательство на юдоциде – не был при этом единообразной кампанией. В зависимости от административного статуса территорий, на которых были застигнуты немцами евреи, он имел немного разные лица и, главное, разные скорости. С этой точки зрения принадлежность территории к Рейху была все же преимуществом: все процессы шли здесь с запозданием, а в Цихенау – еще и с запозданием против Западной Пруссии и Вартегау, например.

В целом гитлеровская еврейская политика в Польше до нападения на Советский Союз заключалась все же не в уничтожении, а в депортации евреев: жидовские морды – вон из немецкого парадиза! 28 октября 1939 года Гиммлер приказал в течение четырех месяцев все аннексированные польские земли очистить от евреев (а это около полу-миллиона душ!) и выселить их в Генерал-Губернаторство.

К чему и было приступлено: 8 ноября депортировали 2000 евреев из Ширпса, 4 декабря - 4000 из Насельска, 6 декабря – 3000 из Сероцка<sup>5</sup>, а всего из Восточной Пруссии в эту пору было депортировано около 30 тыс. евреев.

Вторая волна аналогичных «эвакуаций» нахлынула между ноябрем 1940 и мартом 1941 гг. и накрыла собой еще не менее 26 тысяч евреев из округа Цихенау: их последовательно депортировали в Генерал-Губернаторство, в округа Люблин и Радом<sup>6</sup>. В ноябре из округа было депортировано всего 20 тыс. чел. – поляков и евреев, но по большей части поляков. А в декабре это коснулось и 4 тысяч евреев из Млавы: в их дома и квартиры были немедленно завезены евреи из округи и из других, подчас удаленных, мест, например из гау<sup>7</sup> Западная Пруссия – Данциг<sup>8</sup>. Следующие акцией стала депортация в начале 1941 года еще 10 тысяч евреев, из них 7 тысяч – из Плоцка<sup>9</sup>.

Но в целом исполнение приказа о тотальной еврейской депортации растянулось на годы. Заминка была связана прежде всего с недооценкой нужды Рейха в еврейской рабсиле, как квалифицированной, так и неквалифицированной. И еще с тем, что одновременно немцы разбирались у себя в Рейхе и с поляками, которым тоже нужно было или вписываться в немецкий регламент германизации, или освободить насиженные места для 100-процентных арийцев – фольксдойче из Прибалтики и других мест.

Самые первые гетто – в соответствии с приказом Гейдриха от 21 сентября 1939 года, но в явном противоречии с декларированной политикой тотальных депортаций – были учреждены в Цихенау в начале 1940 года. Их, согласно М.Гринбергу, было 19: Лауфен (Lauffen, или бывший польский Biežuń), Шпорвиттен (Sporwitten, или бывший польский Bodzanów), Червинск-на-Вайселе (Czerwińsk an der Weichel, или бывший польский Czerwińsk nad Wisła), Хорцеллен (Chorzellen, или бывший польский

<sup>5</sup> Grynberg M., *Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939–1942*, Warszawa 1984, С.42.

<sup>6</sup> Нередко – с промежуточной остановкой в лагере Зольдау (Дзядлово), являвшемся транзитным прежде всего для польского населения, но отчасти и для еврейского.

<sup>7</sup> Провинция.

<sup>8</sup> Schulz A., *Regierungsbezirk Zichenau*, С.272.

<sup>9</sup> Grynberg M., *Żydzi w rejencji ciechanowskiej*, С.42.

Chorzele), Цихенау (Zichenau, или бывший польский Ciechanów), Райхенфельд (Reichenfeld), Маков (Makow), Милау (Mielau, или бывшая польская Mława), Нойштадт (Neustadt, или бывший польский Nowe Miasto), Нойхоф (Neuhof, или бывший польский Nowe Dwor), Плоцк (Plock), Плюнен (Plöhnen, или бывший польский Płonsk), Ширпс (Schirps), Штригенау (Strigenau, или бывшее польское Strzegowo), Хуэнбург (Höhenburg), Радзанов (Radzanow), Шренск (Szreńsk), Закрочим (Zakrochym) и Цилун (Zielun, или бывший польский Zielun)<sup>10</sup>.

Самым большим и, наверное, самым тесным из всех гетто в округе было Плонское с 12 тысячами обитателей. Оно вобрало в себя евреев из многих других мест, в том числе нелегальных беженцев из Генерал-Губернаторства. Последних после проверки в июле 1941 года отправили в полицейскую тюрьму в Помиховеке (Pomiechówek), а всех остальных – и уже в декабре 1942 года – в Аушвиц<sup>11</sup>.

В некоторых гетто создавалась культурная и общественная жизнь, возникало даже что-то наподобие социальной сети для больных или пожилых евреев. Так, в Макове-Мазовецком в начале 1940 года был создан дом для престарелых на 500 душ, в Цехануве – на 100, в Плоцке – на 50, в Ширпсе – на несколько сот человек<sup>12</sup>. Однако, со временем (при ликвидации гетто) выяснялось, что одновременно это еще и подлая ловушка: не тратясь на перевозку нетранспортабельных едоков в Треблинку или Аушвиц, нацисты ликвидировали их на месте – расстреливали в тюрьмах или окрестных лесочках<sup>13</sup>.

Уже в начале лета 1941 года 6 гетто из 19 были ликвидированы: евреи из Червинска (2600 чел.), Хуэнбурга и Закрочима были переведены в Нойхоф, а из Лауфена, Шренска и Цилуна – в Милау (Млаву) и Штригенау<sup>14</sup>. К началу лета число гетто сократилось вдвое – до семи: Цихенау, Маков, Милау, Нойштадт, Нойхоф, Плюнен и Штригенау<sup>15</sup>. На вторую половину года планировалась депортация евреев в Милау уже из Штригенау, но – ценою дачи взяток немецким чиновникам (sic!) – ее отложили!..

Окончательная ликвидация остающихся гетто и отправка его обитателей в лагерь смерти проходили в ноябре-декабре 1942 года. Все началось с гетто самого Цихенау: 6 и 7 ноября 1942 года не менее 7 тысяч евреев были отправлены оттуда напрямую в Аушвиц (нетранспортабельные старики и больные были убиты на месте). Продолжением стала «зачистка» гетто во Млаве: первый транспорт отсюда (10 ноября) отправили в Треблинку, а еще три (13 и 17 ноября, 10 декабря) – в Аушвиц. Туда же отправились транспорты и из других гетто: 18 ноября – из Нойштадта (еще два эшелона отсюда были отправлены 9 и 12 декабря), 20 ноября – из Нойхофа и 24 ноября –

<sup>10</sup> *Ibidem*, С.45ff.

<sup>11</sup> *Ibidem*, С.63.

<sup>12</sup> Schulz A., *Regierungsbezierk Zichenau*, С.271.

<sup>13</sup> Grynberg M., *Żydzi w rejencji ciechanowskiej*, С.41-42.

<sup>14</sup> *Ibidem*, С.45.

<sup>15</sup> *Ibidem*, С.106.

из коррумпированного Штригенау<sup>16</sup>. В ноябре же ликвидировали гетто и в Макове, но его обитателем выпала передышка в Млаве, в ее разоренном транзитном гетто.

В конце ноября фактически ликвидировали и четырехтысячное гетто в Нойхофе: в нем оставили только 750 ремесленников, около 1250 человек отправили в Помиховек, что к северу от Нойхофа, а остальные 2000 тремя эшелонами увезли в Аушвиц: 20 ноября – старых и больных, 9 декабря – семьи с тремя и более детьми, а 12 декабря – всех остальных<sup>17</sup>. В начале декабря приступили к ликвидации Плонского гетто – первый эшелон оттуда прибыл в Аушвиц 3 декабря, а последний отправлен 15 декабря.

Он, кажется, и стал самым последним эшелонам РСХА из административного округа Цихенау. Всего за неполные 1,5 месяца оттуда было депортировано 36 тысяч мазовецких евреев. Из 80 тысяч представителей местного довоенного еврейства уцелело не больше 4 тысяч: это в основном те, кто осенью 1939 года бежали на восток, к Советам.

## 2

В Маковском гетто накануне ликвидации проживало около 4500 евреев, но прошло через него не меньше 12 тысяч, главным образом, из окрестных местечек и сел<sup>18</sup>. В графике ликвидаций оно не было ни последним, ни первым. Его ликвидировали (выселили его жителей) 18 ноября 1942 года, но на пути к смерти маковские евреи получили нечаянную трехнедельную отсрочку. Ею они были обязаны только одному – отсутствию в их родном городке железной дороги, что сделало необходимым остановку и пересадку в каком-нибудь другом месте, с вокзалом. Так они оказались в обезлюдевшем гетто Млавы, ставшем для них последней передышкой перед адом Аушвица.

Обстоятельства этой депортации обстоятельно и эмоционально описаны Лейбом Лангфусом в его «Выселении» — самой большой из дошедших до нас его рукописей. Она начинается такими словами: *«Тихо погруженное в покой, в живописном и уютном месте расположилось Маковское гетто»*.

В этой оксюморонной фразе непроизвольно столкнулись лоб в лоб не сходящиеся обыкновенно обстоятельства – идиллия места и трагедия времени: ну разве можно себе представить резню в раю?..

Нет, нельзя, но и Маков – это не рай. Еще в тридцать девятом трагедия времени ничего не оставила от идиллии места, в чью формулу и без того входил колючий и небезобидный, но все же сугубо приватный антисемитизм, к тому же немного сдерживаемый польской конституцией и полицией.

<sup>16</sup> *Ibidem*, С.106-107.

<sup>17</sup> *Ibidem*, С.60.

<sup>18</sup> *Ibidem*, С.57.

Но уже одно концептуальное замещение жидоненавистничества как частного дела профессиональной немецкой государственной юдофобией означало заблаговременное открытие всех шлюзов и клапанов любым грядущим погромам – и с отпущением грехов впридачу. Но еще не означало перехода от слов к делу, от трепотни и плевков к самому – Хайль Гитлер! – интересному и сладкому: безнаказанным убийствам, насильничаньям, грабежам.

Где-нибудь за пределами Рейха, например, в Генерал-Губернаторстве, Остланде или на Украине, самим собой разумеющимся было то, что местные жители и их парамилитарные корпорации время от времени позволяли себе – под одобрительные зевки или хлопки оккупантов – погромные инициативу и самодеятельность. Но на территории Рейха это было бы уже не шалостью, а дерзостью, но местные энтузиасты иногда позволяли себе и ее, как, например, поляки 10 июля 1941 года в Едвабно, что в округе Белосток.

Все же отметим, что записки Лангфуса<sup>19</sup>, в отличие от текстов Градовского и Левенталя, практически свободны от упреков полякам. Они начинаются с событий конца октября 1942 года, то есть того момента, когда от слов к делу переходили не какие-нибудь локальные дилетанты, а высокие профессионалы из СС, СД и полевой жандармерии.

Стратегическая задача, поставленная всем им фюрером и рейхсфюрером, – окончательное решение еврейского вопроса – вовсе не подразумевала единовременной всеобщности их убийства. Из перспективы палачей – всему свое разное время. Она не только учитывала профиты от контрибуций и временного трудоиспользования евреев-специалистов, но и покоилась на фундаментальных принципах разумной постепенности, дисциплинированности и экономии сил: ломтик за ломтиком, шайбочка за шайбочкой, эшелончик за эшелончиком. Умри или погибни все евреи зараз, большей неприятности своим палачам и мучителям они бы доставить не смогли – из-за непомерных трудностей с логистикой.

Поэтому так важны были покорность и дисциплинированность жертв. Добивались этого не только их депортациями и сверхконцентрациями в гетто, не только беспределом и кровавостью индивидуального террора во время акций (евреи «рейхстетто», в том же Цихенау, в сущности, и не знали их в той мере и в том объеме, в каких их пропустили через себя евреи, скажем, Вильнюсского или Варшавского гетто) и не только раскалыванием еврейства на прикормленную элиту (юденрат, полиция, бригады) и остальное быдло. Вполне допускались гешефты и доверительные отношения с отдельными лицами, и даже некоторые уступки и поблажки вроде спорта, культуры, купания в реке, молодежных кружков и освобождения от работы в Пейсах.

Но тактика «кнута и пряника» требовала и такой гибкости, чтобы в любой момент быть в состоянии нанести и стремительные удары, и парализующие укусы. Впрочем,

<sup>19</sup> По крайней мере, в той их части, что до нас дошла.

не в любой, а в тот единственно нужный момент, когда они сработают лучше всего (продуманность и системность действия палачей во время Холокоста и до сих пор недооценивается).

Поэтому и установка роттенфюрером Штайнмецом на школьном дворе виселиц, и взятие им в начале октября 1942 года в заложники двадцатки случайно отобранных мужчин и их публичная казнь – отнюдь не прихоть садиста-самодура и далеко не случайность. Назначение этой трехходовки точно такое же, что и укуса змеи: жертва обездвигивается и парализуется, – после чего процессы ее заглатывания и переваривания могут идти спокойно и без конвульсий.

Жертве же – гетто – предстояло погибнуть, но мирно, сохраняя спокойствие, и еще так, чтобы накануне добровольно расстаться со своими драгоценностями. Поэтому своему гетто роттенфюрер сначала сообщил, что предстоит поголовное переселение: нетрудоспособных ждут в Малкинии (а уже знали, что это форпост Трешлинка), а трудоспособных – в малоизвестном еще тогда Аушвице. Потом дал понять, что разницы между обоими маршрутами нет.

Что же делать? – Как что? Спасать детей! – А как? – Отправить их к знакомым крестьянам, а самим, помолвившись, наброситься на убийц и погибнуть в борьбе с ними!

Этим простым и, вероятно, правильным планам не суждено было осуществиться. Во-первых, самые доброжелательные поляки, запуганные предусмотрительными немцами, наотрез отказывались прятать у себя никакого еврея, хотя бы и самого Исуха Христа.

Но главным изъяном этих планов оказались... сами дети, еврейские дети! Лангфус замечательно раскрыл это на своем примере: ни Деборе, его жене, ни ему самому не под силу оказалось даже на час расстаться с их Самуильчиком, да и сам мальчик, изнеженный и обласканный родительской любовью, не смог бы и часу прожить у чужих. Вековые законы еврейской мишпухи и тут срабатывали – сами, без раскрутки и понукания, но их властность работала против Самуильчика и на его палачей. Все творившееся было, конечно, склизким и хладнокровным убийством с последующими заглатыванием и перевариванием, – но, благодаря законам мишпухи, еще немножечко и самоубийством тоже.

А тут снова пришел Штайнмец и тонко соврал, что Аушвиц для работоспособных заменен шахтами под Катовицем, и тем, кто туда попадет, можно будет брать и семьи.

Ах, какое счастье! – Какое там сопротивление, какая борьба?

От мужественных, от врагоборческих планов в миг ничего не осталась. Даже самоубийство и предсмертная записка местного врача с заветом не верить ни одному немецкому слову, хотя и потрясли гетто, но ни малейшего воздействия не возымели.

Ведь на биржу еврейской жизни и смерти только что вбросили огромный пакет акций самой котирующейся, самой надежнейшей из всех компаний – Надежды.



Вбросившие же «пакет» – комендант Штайнмец и вся его эсэсовская рать – вдруг стали на несколько дней, до отправления «в Катовиц», такими шелковыми и пушистыми, такими задушевыми и закадычными!.. Уж так им хотелось, играя на этой бирже, еще и лично сорвать куш – поживиться содержимым тех еврейских кладов, которые у них до сих пор еще не отобрали силой. Кое-что им и впрямь перепало, особенно членам комиссии, решавшим, а кто тут у нас и почему работоспособный.

Но интерес этот был взаимный. Ничто так не разоружает еврея как чадолюбие и ничто не связывает его так жестко и так жестоко, как мишпуха. И сколько бы сам Лангфус ни хорохорился и ни пересказывал читателю *«мужественное и проникновенным выступление даяна из Макова»* (то есть свое!) в день перед прощанием с Маковым, мы-то уже догадались, что, поколебавшись, он поставил не на борьбу, а на «акции надежды». И пускай в своем отчаянно искреннем тексте он еще не раз заговорит о сопротивлении, но всегда это будет – в сослагательном наклонении (*«Мы бы героически боролись»*). Ему и его Деборе и в самом деле нечего противопоставить нескончаемым рыданиям и подергивающимся плечикам их Самуильчика.

18 ноября – в день первого этапа депортации – все пушистые и закадычные снова стали самими собой и, если и соревновались друг с другом, то только в изощренности издевательств. И даже он, Лейб Лангфус, германофоб и местный даян (даже, по сути, раввин), сердцем хотя и испытывал искреннее сочувствие к тем, кого комиссия признала неработоспособными, все же продолжал радоваться тому, что кто-то там прищурился и разглядел в нем одного из тех прирожденных шахтеров, кого (вместе с их семьями, разумеется) так давно ждут в Катовице, столице Верхнесилезской угледобычи.

Но привезли их не на угольные шахты, а просто в другое гетто – в млавское, такое же, как и маковское, но уже давно вчистую и окончательно разоренное. Встречали их<sup>20</sup>, вместе с жандармами, председатель Млавского юденрата и его полицейские, которых немцы оставили дома, видимо, лишь для того, чтобы облегчить себе этот и другие транзитные трансферы.

В Макове же погрузка на грузовики шла одинаково бесчеловечно для всех – что работоспособных, что неработоспособных. При обысках и регистрациях, при погрузке и разгрузке эсэсовцы снова и снова искали, находили и отбирали еврейские доллары и драгоценности, а в Млаве они даже не поленились несколько раз разыграть, сымитировать селекцию, для чего партии евреев изымались из их временных холодных пристанищ в чужом разоренном гетто и заключались на ночь в две совершенно не приспособленные для жилья и гигиены старые мельницы, в честь которых когда-то, быть может, и был назван весь городок. Люди же воспринимали это как окончательную селекцию и куда охотнее расставались со своими сокровищами. Побывали там и Лейб с Деборой и Самуильчиком, и эта ночь отмечена у Лангфуса как *«единственная*

<sup>20</sup> Если только Лангфус не обознался.



*и ужаснейшая из ночей*». Но и не перестаешь поражаться тому, до чего находчиво и целеустремленно и до чего без усталости эти доверенные немцы, сопровождавшие свою корову на бойню, все доили ее и доили по дороге!<sup>21</sup>

Пребывание в Млаве растянулось на несколько недель (для Лангфусов – до 5 или 7 декабря), и за это время выпал снег. Снег в те же самые дни видел и вспоминал и Градовский: его везли тогда же и туда же, куда Лангфуса и Левенталья, но не с северо-запада, не из Млавы с Малкинией (бецирк Цихенау), а с северо-востока – из Колбасина, что в бецирке Белосток.

И только там, где они съехались, где они встретились в блоке зондеркомmando и где в одночасье все как один потеряли всех своих близких, Лангфус, наконец, осознал, насколько коварен и фальшив был тот «волшебник», которому он наивно доверился, и сколь непоправимым – с точки зрения преследовавшихся целей – стало теперь его положение.

Впрочем, Лангфусу, - еще вчера счастливому, несмотря ни на что, отцу и мужу, - это понимание далось неизмеримо труднее, чем бездетному Градовскому и холостому Левенталю. Рассуждая в «Дороге в ад» о феномене «безропотно шли на бойню», Градовский называет личные чувства, тревоги и инстинкты, оглушенность своим индивидуальным или семейным горем важнейшими первопричинами гибели евреев: *«Первый момент, сослуживший им страшную службу, состоял в том, что связывает семьи воедино: это чувство ответственности по отношению к родителям, женам и детям – это и нас связало, сплотило в единую, неделимую массу»*. Отсюда и его вывод об *«отчаянных молодых людях, не связанных семейной ответственностью»*, то есть принадлежностью к мишпухе, как о самой большой угрозе для немцев, учитываемой ими поэтому с коварной серьезностью.

Левенталь же – при всей своей склонности к психологии и психологизмам – в дошедших до нас текстах этой проблематики не касается. Но его мысль, судя по комментариям к «Лодзинской рукописи», оперирует очень близко и его вывод смыкается с выводами двух других: в вопросах спасения еврейства правы сторонники борьбы и сопротивления, а не Хайм Румковский, фюрер Лодзинского гетто. Торгуя на бирже еврейских жизней еврейскими смертями, он, по существу, никого не спасает, а только раздаст номерки в общей очереди на смерть.

### 3

Среди депортированных, понятно, был и сам автор публикуемых здесь текстов: Лейб Лангфус – даян<sup>22</sup> из Макова-Мазовецкого. Он родился в Варшаве около 1910 года. Внук коцкого хасида и выпускник йешивы в Суцмире (Сандомире), он был ис-

<sup>21</sup> Или, другой образ того же – отжимали от ненужной роскоши одну и ту же тяжелую и наволпшую половую тряпку.

<sup>22</sup> Даян – судья, член коллегии раввинов, имеющий право давать заключения в вопросах ритуалов и по галахическим вопросам, а также разрешать направленные в раввинский суд конфликты. Некоторые называли Лангфуса еще и магидом – проповедником в синагоге.

ключительно религиозным человеком. В 1933 или 1934 году женился на Двойре Розенталь, дочери Шмуэля-Иосифа Розенталя, маковского раввина. Вскоре у них родился сын – Шмуэл (Самуильчик). Сразу же после немецкого нападения на Польшу тесть экстренно переехал в Варшаву, и Лейб стал фактическим духовным лидером Маковской общины<sup>23</sup>.

Еще до войны Лангфус утверждал, что Германии доверять нельзя, что Гитлер хочет физически уничтожить всех евреев, что этому нужно всячески противостоять, но никто его не слушал<sup>24</sup>. Бывший член маковского Юденрата Авром Горфинкель рассказывал о том, что свою агитацию он бесстрашно продолжал и в оккупации, и в концлагере: сопротивление и восстание – вот лучшее из того, что нужно было попытаться сделать<sup>25</sup>.

Вместе с женой и сыном Лангфус покинул Маков с эшелонам 18 ноября и, пробыв в Млаве около трех недель, 7 декабря был увезен с последним эшелонам в Аушвиц.

На место эшелона прибыл 10 декабря 1942 года. Из примерно 2300 человек селекцию не прошли 1976 чел.: их увезли на автобусах. В их числе были Двойра и плакса Самуильчик – жена и маленький сын Лангфуса.

Прошли же селекцию только 524 чел., все – мужчины (они получили лагерные номера с 81400 по 81923). Из них 70 особо крепких и здоровых попали в «зондеркоммандо», в их числе и Лангфус – вместе с Залманом Левенталем. Когда прошедшие селекцию спросили, куда увезли их близких и что с ними будет, эсэсовцы вежливо ответили, что их везут в специальные бараки, где они будут жить и где потом с ними можно будет видеться по выходным. В действительности еще в тот же день или на завтра все они были убиты, а их трупы сожжены. От всего их транспорта осталась лишь небольшая горка полусторевших костей.

В «зондеркоммандо» Лангфус был, по-видимому, наиболее религиозным евреем. Интуитивно восхищаясь прочностью его веры «несмотря ни на что и вопреки всему» и щадя его впечатлительное сердце, капо ставили его всегда на относительно легкую работу: он был или штубовым (постоянным дежурным) в бараке<sup>26</sup>, или же мыл и сушил женские волосы<sup>27</sup>. Но поначалу он работал на сжигании трупов возле бункеров, затем в Крематории II. Позднее он получил должность мастера, и его перевели на Крематорий III. После восстания, по-видимому, он еще некоторое время проработал и на разборке остатков героического Крематория IV.

Он был хорошо известен как человек, рьяно интересующийся всеми новостями. Без называния имени, он упоминается в рукописях Залмана Левенталя и, судя по все-

<sup>23</sup> См. свидетельство Иешуа Эйбшица (YVA. M 99/944).

<sup>24</sup> Mark E., *Notes on the identity of the „Anonymous“ author and on his manuscript* // *Ber Mark. The Scrolls of Auschwitz*, Tel-Aviv 1985, С.168.

<sup>25</sup> Со слов А. Горфинкеля (Mark E., *Notes on the identity of the „Anonymous“ author and on his manuscript*. Со ссылкой на архив Б. Марка).

<sup>26</sup> См.: Greif G., «Wir weinten tränenlos...» *Augenzeugenberichte der jüdischen «Sonderkommandos» in Auschwitz*, Frankfurt am Main 1995, С.30.

<sup>27</sup> См. воспоминания М.Буки.

му, Залмана Градовского, а также в книге Миклоша Нижли: последний описывает его как худого и физически слабого черноволосого человека<sup>28</sup>. Вспоминают о нем и земляки – член маковского юденрата Авром Гарфинкель и его жена Ида, а также Мордехай Чехановер (член «зондеркомmando») и Шмуэль Тауб (член санитарной команды)<sup>29</sup>.

Они отмечают, что слово Лангфуса и его пример оказывали на часть зондеркомандовцев колоссальное влияние. В атмосфере распада он как бы светился изнутри и отстаивал свое достоинство человека, борющегося за то, чтобы сохранить образ и подобие Божие.

Лангфус принадлежал к руководству повстанческого движения зондеркомандо. Более того, он с готовностью вызывался остаться на территории крематориев и подорвать «свой» – вместе с собой, чтобы, как Самсон-богатырь, погибнуть «с филистимлянами»<sup>30</sup>. Такая смерть не противоречила бы его религиозным взглядам.

Встретив электрика Х. Порембского на территории «своего» Крематория III в самом начале октября, Лангфус рассказал ему о планах восстания и о том, что именно ему, Лангфусу, предстоит взорвать крематорий и себя вместе с ним, поэтому он просит поляка Порембского как лицо с более высокими, чем у Лангфуса, шансами уцелеть, запомнить получше как его самого, так и то, что в различных местах в земле вокруг крематориев спрятаны емкости с рукописями.

Однако в действительности восстание, вспыхнув, разгоралось отнюдь не по плану. Его реальные очаги находились на крематориях IV и II, и Лангфус, находившийся, как и Левенталь, в крематории III, не мог принять в нем никакого участия.

Свою последнюю заметку Лангфус заключает четырьмя короткими фразами и датой – датой своей смерти: *«Сейчас мы идем в Зону. 170 еще оставшихся людей. Мы уверены, что они поведут нас на смерть. Они отобрали 30 человек, которые остаются на крематории V. Сегодня 26 ноября 1944 года».*

#### 4

И именно там и именно она, эта рукопись, и была обнаружена! Произошло это еще в апреле 1945 года, – став одной из первых такого рода находок вообще. Нашел ее возле руин крематория III Густав Боровчик, впоследствии офицер Польской народной армии, житель Катовице. Нашел – и, видимо, не зная, что с нею делать, спрятал на чердаке своего дома.

По-видимому, он никому не рассказал о своей находке: если бы рассказал, то к нему непременно обратился бы Шенкер! Чудом уцелевший освенцимский еврей Леон Шенкер до войны возглавлял местную еврейскую общину, а после войны владел

<sup>28</sup> Nyiszli M., *Auschwitz: a Doctor's Eyewitness Account*, Transl.: T.Kremer, R.Seaver; foreword: B. Bettelheim. New York: Frederick Fell, 1960, С.195–197.

<sup>29</sup> Эти воспоминания находились в архиве Б.Марка (Mark E., *Notes on the identity of the „Anonymous“ author and on his manuscript*).

<sup>30</sup> (Шофтим) Суд. 16:30.

фабрикой «Агрохимия» в Освенциме-Круке и неутомимо, хотя и малоуспешно собирал любые свидетельства о том, что происходило в Аушвице с евреями<sup>31</sup>.

Во второй раз рукопись «обнаружил» младший брат Густава Боровчика – Войцех. Произошло это в октябре 1970 года, когда, после смерти матери, он приехал в Освенцим и разбирался в родительском доме со всем его содержимым. На чердаке он и наткнулся на рукопись, написанную непонятными еврейскими буквами. 10 ноября того же года он передал ее в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме<sup>32</sup>.

Рукопись представляет собой 52 карточки формата 11x17 см, исписанные с обеих сторон. Ряд страниц (особенно в конце) совершенно не читались с самого начала. Пагинация на рукописи — д-ра Романа Пытеля (с 1 по 128, из них последняя страница с текстом — 114-я).

У рукописи есть авторское название, уже приведенное: «Der Geyresh» («Гейреш», или «Выселение», иначе – «Изгнание» или «Депортация»). Судя по сохранившейся нумерации глав, рукопись не полна<sup>33</sup>, хотя пропусков в пагинации страниц нет. Скорее всего это просто сокращенная версия более обширной рукописи, до нас не дошедшей. Отбирая при переписке фрагменты для своего «дайджеста», автор просто не стал менять нумерацию изначальных глав, зато, по всей видимости, добавил в ряде мест свои позднейшие комментарии<sup>34</sup>. В любом случае это не дневник, а воспоминания, пусть и написанные по горячим еще следам.

Кстати, из девяти текстов пяти авторов-зондеркомандовцев «Выселение» Лангфуса – единственный текст, посвященный событиям в гетто исхода. Те обрывки фраз о варварских убийствах и изнасилованиях, что сохранилось от начала рукописи Левенталя, позволяют все же предполагать, что о «своем» изначальном гетто в Цехануве не промолчал и он. Но Градовский начинает (опять-таки – если ограничиться дошедшим до нас!) только с транзитного лагеря-гетто в Колбасино, Наджари с ужасом, но только упоминает «свой» лагерь (точнее тюрьму) Хайдар, а Герман и вовсе не касается «своего» Дранси.

Зато все тексты – все без исключения – как бы впадают в огромное кровавое море, именуемое Аушвицем-Биркенау и уже не покидают его берега.

<sup>31</sup> См.: Schönker H., *Ich war acht und wollte leben. Eine Kindheit in Zeiten der Shoah*, Düsseldorf 2008.

<sup>32</sup> См. протокол акта приемки от 10.11.1970 (АРМАВ. F.13. Wsp.420). В музее рукопись получила свой архивный шифр: Syg. Wsp. / Autor nieznany / 449a (Ксерокопия: Wsp., tom 78,79; Микрофильм: Инв. №: 156866). Копия и дополнительные материалы к рукописи находятся также в Яд-Вашеме (YVA. № 303).

<sup>33</sup> Вот примерное содержание рукописи (в скобках — номера листов оригинала): Гл. 1. Первое предупреждение (1–30); гл.6. На марше (30–46); гл. 10. В день перед депортацией (46–49); гл. 11. Изгнание (50–55); гл. 12. Млава (55–83); гл. 17. На железную дорогу (83–101). Дальнейших подглавок и разбивок текста нет, но содержание последней из глав шире ее названия. Начиная с л. 88, в ней описывается прибытие эшелона из Млавы на рампу перед Аушвицем I и сама селекция (88–93).

<sup>34</sup> В качестве примера могут послужить пассажи из последней главки: «Позже мы убедились, что в первой группе насчитывалось четыреста пятьдесят, а во второй пятьсот двадцать пять человек». Или: «Как я позже узнал, моя жена и мой сын находились в этой же группе...».

Сохранилась и еще одна единоличная рукопись Лангфуса. Ее изначальное авторское название – «Заметки», или «Случаи». Во фрагментарной форме в них описываются самые разные, в том числе и совсем недавние события.

Она состоит из трех частей. Первая – под названием «Частности» – это воспоминания об отдельных эпизодах по памяти. Интересно, что здесь чередуются рассказы о событиях как 1943, так и 1944 годов. Вторая часть – «Садизм» – явно записана со слов советских военнопленных. И, наконец, собственно «Заметки» – очень короткий, но самый настоящий дневник.

Самая ранняя его дата – 10 октября, самая поздняя – 26 ноября 1944 года. Так, 14 октября руками «зондеркоммандо» начали разрушать стены крематория IV, изрядно пострадавшие во время восстания за неделю до этого; 20 октября грузовик привез для сожжения картотеки и горы документов; а 25 октября начали демонтировать и крематорий II (при этом в первую очередь демонтировали вентиляторный мотор и трубы – для того, чтобы установить их в других лагерях – в Маутхаузене и Гросс-Розене – таких моторов в крематориях IV и V не было – значит, немцы хотят продолжить свое дело в других местах).

В сущности, это предсмертный дневник, ибо 26 ноября 1944 года – в день своей последней записи – Лангфус, вероятно, стал жертвой последней селекции «зондеркоммандо».

Успел ли он закопать свою рукопись сам или это сделал кто-то другой? Этого мы уже никогда не узнаем.

Места своих схронов Лангфус описывает как можно более точно. Так, две большие рукописи – «Выселение» и «Аушвиц» – он закопал возле крематория II, еще несколько (но неизвестно сколько) меньших коробочек с различными заметками – возле крематория III. И, наконец, еще одну – возле разрушенного крематория IV. Можно предположить, что всего таких схронов было не меньше 6-7, из них два – были обнаружены, и рукописи чудом дошли до нас!

История обнаружения, передачи и даже хранения второй рукописи Лангфуса – самая запутанная из всех, и до сих пор не все ее загадки разрешены.

Из материалов, оказавшихся нам доступными<sup>35</sup>, следует, что она была обнаружена в ноябре 1952 года (по другим данным – в начале 1953 года). Интересно, что нашли ее не у Крематория III, к которому Лангфус был приписан, а возле восстановленного крематория IV. Скорее всего, автор или тот, кто закопал рукопись, входил в число тех, кому пришлось разбирать его полусгоревшее здание и демонтировать его дорогое оборудование.

<sup>35</sup> Аннотация копии документа, хранящейся в Государственном музее Аушвиц-Биркенау, и приложенная к ней «Служебная записка» от 2 апреля 1974 года магистра Яна Куча, сотрудника краковского регионального бюро Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений.

Согласно официальной версии, раскопки 1952 (или 1953) годов были инициированы чуть ли не Катовицким отделением Польской объединенной рабочей партии<sup>36</sup>. Однако из «Служебной записки» Яна Куча, сотрудника Краковского регионального бюро Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений и являющейся, собственно, пересказом обращения в бюро некоего Владислава Баруса, жителя г. Кракова<sup>37</sup>, вырисовывается несколько иная картина.

Саму рукопись обнаружил житель Освенцима Франциск Ледвонь, косивший траву в районе крематория IV; она была запечатана в закрытой стеклянной банке светлоглубокого или зеленого цвета и размером со школьную реторту. Узнав о находке, эту рукопись умолял продать ему Леон Шенкер, однако Ледвонь ему отказал.

Вместо этого он передал рукопись своей сестре(?) Марии Боровской, проживавшей в Варшаве, и ее мужу Станиславу Вальчику, партийному работнику. Барусу было известно, что они намеревались передать рукопись в Институт истории партии<sup>38</sup>.

Кроме того Эдмунд Хабер из Катовице, сотрудничавший с Институтом еврейской истории в Варшаве, утверждал, что рукопись находилась в свое время в этом Институте. Сам Хабер намеревался продолжить поиски еврейских рукописей и получил на это разрешение Министерства культуры и искусства Польши. Его группа, в составе восьми человек, провела двухнедельные раскопки на территории концлагеря Биркенау; ей, в частности, удалось найти «банку с различными интересными предметами», которая была затем передана в Государственный музей Аушвиц-Биркенау<sup>39</sup>.

У оригинала этой рукописи до сих пор не прояснены ни история ее хранения, ни место его сегодняшнего нахождения. Наиболее вероятное местонахождение оригинала – это IPM: Институт народной памяти, отдел «Главная комиссия по расследованию нацистских преступлений в Польше». Однако, согласно устной справке сотрудников, оригинала там нет.

Вскоре после своего обнаружения оригинал (или, в крайнем случае, его хорошая фотокопия) некоторое время находился в Институте еврейской истории в Варшаве, в печатном органе которого и был впервые опубликован<sup>40</sup>. Но и там не подтверждают наличия у себя оригинала.

Копия, сделанная с оригинала, и некоторые дополнительные материалы находятся в Государственном музее Аушвиц-Биркенау в Освенциме<sup>41</sup>.

<sup>36</sup> Польская объединенная рабочая партия - аналог коммунистической партии, - обладала монопольной властью в стране до 1989 года.

<sup>37</sup> О служебном положении В.Баруса в записке Я.Куча ничего не говорится, но, судя по всему, он работал на стыке партийной и культурной иерархий. В Главную комиссию по расследованию он обратился после того, как на глаза ему попала публикация «Рукописи неизвестного автора» в посвященном «зондеркомандо» специальном выпуске «Аушвицких тетрадей», вышедшем на польском языке в 1971 году.

<sup>38</sup> При Польской объединенной рабочей партии.

<sup>39</sup> Весьма вероятно, что здесь подразумеваются успешные раскопки с участием Х.Порембского в 1962 году.

<sup>40</sup> «Biuletyn ŻIH» 1954, Nr.9–10, С.303–309.

<sup>41</sup> АРМАВ: Syg. Wsp. /Autor nieznaný / Tom 73. Nr. 420a (фотокопия; Mikrofilm Nr. 462. Инв. № 156644. Л.1–28.



«Заметки» долгое время фигурировали как «Рукопись неизвестного автора». Дело в том, что Лангфус не пожелал облегчать задачу своим будущим исследователям и, вместо имени, привел зашифрованный акроним – очевидный, но не сразу разгаданный намек.

Однако еще в начале 1960-х годов рукопись была впервые атрибутирована профессором Бернардом (Берлом) Марком, ее первым публикатором, как принадлежащая неустановленному лицу – магиду или даяну (религиозному судье) из Макова-Мазовецкого. В 1966 году Б.Марк умер, а в 1971 году его вдова, Эстер Марк, прибегнув к графологической экспертизе Эфраима Купера из Иерусалимского университета, подтвердила тождество сравниваемых почерков<sup>42</sup>. Сопоставив различные свидетельства и проанализировав акроним «Анонимного автора», она сумела идентифицировать его имя, а затем и его личность<sup>43</sup>.

Она же первой высказала следующую, впоследствии блестяще подтвердившуюся, гипотезу относительно акронима «J.A.R.A.». Он представлял собой инициалы имени и фамилии Лангфуса в переводе с идиша на иврит и расшифровывается как: Jehuda Arie (leib=лев) regel (fus=нога) agucha (lang=длинная)<sup>44</sup>. Последние два слова означают «длинная нога», то есть то же, что и фамилия «Лангфус» на идише и по-немецки<sup>45</sup>.

Лангфусу принадлежат еще три фрагмента, выявленные внутри рукописи Залмана Левенталя, — два фрагмента на идише («3000 голых» и «600 мальчиков»), а также лист на польском языке с перечнем эшелонов, прибывших в Аушвиц между 9 и 24 октября 1944 года. События, описываемые в «600 мальчиков», датируются, согласно Д.Чех, 20 октября 1944 года: в этот день в газовой камере Крематория-III было удушено около тысячи мальчиков и юношей в возрасте от 12 до 18 лет, в том числе 357 человек из филиала Дюэрнфурт (Duherrnfurth) концлагеря Гросс-Розен<sup>46</sup>.

В этих «Заметках» Лангфус присоединяется к своеобразной поэтике причитания, встречаемой и у Градовского, и у Левенталя. Но Лангфус пишет особенно цветисто и осознанно «художественно», с психологическими рефлексиями, отчего удельный вес его слова несколько снижается.

В отличие от Левенталя, он явно рассчитывает на то, что его текст будет не просто найден, но и прочитан читателями и принят к сведению историками.

В конце второй рукописи Лангфус просил того, кто ее найдет, собрать все его тексты, что удастся найти, упорядочить их и опубликовать вместе под общим названием: «В содрогании от злодейства».

<sup>42</sup> Позднее эта атрибуция была подтверждена профессором Иерусалимского университета В.Московичем.

<sup>43</sup> Mark E., *Notes on the identity of the „Anonymous“ author and on his manuscript*, С.166–170.

<sup>44</sup> В иврите прилагательное следует за существительным.

<sup>45</sup> См.: Kádár G., Vági Z., *Self-financing genocide*, Central European University Press, Budapest 2004. В книге перепутан порядок инициалов, но это не так важно. Благодарю И.Рабин, указавшую мне на эту проблему и на этот источник.

<sup>46</sup> Czech 1989, С.912.

Эта его воля впервые будет в точности исполнена в составе моей книги «Свитки из пепла. Еврейская «Зондеркоммандо» в Аушвице-Биркенау и ее летописцы», в ее разделе «Рукописи членов зондеркоммандо, найденные в пепле у печей Освенцима (З. Градовский, Л. Лангфус, З. Левенталь, Х. Герман, М. Наджари и А. Левите)», во-бравшем в себя все русские переводы всех дошедших до нас рукописей Лейба Лангфуса.

К сожалению, сохранность оригинала рукописи «Выселение» сегодня уже такова, что он ничем уже не может помочь переводчику. Оригинал, увы, не читаем, отчего перевод осуществлен с более раннего перевода, сделанного еще в те времена, когда он был более читабельным. Язык этого вынужденного оригинала – немецкий, переводчик – пишущий эти строки.

В целом стилистика оригинала, местами несколько шероховатая, по возможности сохранена и в настоящей журнальной публикации. Разбиение на главки и их названия – авторские. Для публикации взяты не все, а лишь наиболее сохранившиеся и цельные фрагменты рукописи Лангфуса. Сделанные в связи с этим купюры выделяются традиционными угловыми скобками. В квадратных скобках с отточием [...] обозначаются отдельные нечитаемые места в отобранном к публикации.

# ВЫСЕЛЕНИЕ

## Первое сообщение

Тихо погруженное в покой, в живописном и уютном месте расположилось Маковское гетто.

31 октября 1942 года в половине девятого утра еврейские рабочие неожиданно были возвращены из деревень, где они работали. Уже на протяжении нескольких лет биржа труда<sup>47</sup> делала все для того, чтобы ни у одного еврея не было нормальной жизни. В то же время принимались меры к тому, чтобы у всех мужчин и незамужних женщин, возрастом не старше 53 лет<sup>48</sup>, была нормальная работа. В сущности, ее лишь весьма условно можно было называть работой, в действительности это было настоящее издевательство над людьми, которых немилосердно и с циничной жестокостью били.

На глазах кровожадных разбойников-надзирателей они должны были падать от изнеможения и болезней, умирать от голода и мучений, полностью лишаться остатка душевных сил. Уже при одном виде немецкого жандарма<sup>49</sup> им приходилось дрожать от страха. Все время их непрерывно подгоняли, вынуждая трудиться в нечеловеческом темпе и под градом побоев. Целыми днями их мучили, не упуская ни малейшей возможности жестоко поиздеваться, а от постоянных побоев на телах оставались красные и белые рубцы.

Немецкий комиссар гетто, Штайнмец<sup>50</sup>, осуществил это нововведение.

Бывший школьный двор, на котором несколько месяцев назад снесли огромную школу с прекрасными антиками, он преобразовал в длинную виселицу, чтобы вешать невинных евреев. Приехали двое гестаповцев, приказали позвать руководство общины и потребовали принести им книги с биржи труда. После чего приказали назвать имена первых двадцати рабочих, которые случайно в этот момент находились в городе. За ними послали еврейскую полицию<sup>51</sup> с сообщением об их предстоящем аресте:

<sup>47</sup> Имеется в виду отдел труда юденрата, осуществлявший регистрацию профессий тех евреев, кого, согласно приказам немецких властей, отправляли на принудительные работы в распоряжение городских или армейских структур, в военные части и полицию, на военные предприятия.

<sup>48</sup> Р.Пытель, переведивший в свое время текст с оригинала на польский язык, разобрал эту цифру, но он и сам не был в ней до конца уверен.

<sup>49</sup> Немецкая жандармерия (Gendarmerie) была частью так называемой полиции правопорядка (Ordnungspolizei) и следила за порядком в сельской местности, а также в небольших городках как в самом Рейхе, так и на территориях, оккупированных вермахтом. В условиях войны жандармские айнтатцкоммандо подчинялись высшим руководителям СС и полиции (Höhere SS- und Polizeiführern, или HSSPF). В функции жандармерии входили также поддержание порядка в гетто (по мере необходимости) и охранение так называемых РСХА-эшелонов, осуществлявших депортации евреев из мест их концентрации в места их уничтожения.

<sup>50</sup> По всей видимости, заместитель коменданта города, отвечавший за все вопросы, связанные с еврейским вопросом. Дополнительными сведениями о нем не располагаем, но можем предположить, что после ликвидации гетто он был переведен в Аушвиц и работал с «зондеркоммандо». Во всяком случае SS-Rttf. СС Штайнмец, 1918 года рождения, начиная с декабря 1942 года, был командофюрером на объектах зондеркоммандо: сначала – на втором бункере, а затем на Крематории IV.

<sup>51</sup> Еврейская полиция (официально – «служба порядка») существовала в каждом гетто. Еврейские полицейские носили повязки на рукаве, а иногда и униформу; вместо оружия имели дубинки.

они будут находиться под арестом до вынесения им смертного приговора. Молодые крепкие мужчины, полные жизни и творческих сил, в глубоком отчаянии сидели под строгим полицейским надзором, и все живые горько оплакивали их смерть. Три страшные недели провели они под арестом – в трагических условиях и в ожидании смерти [...]от восхода до захода солнца длинными, прохладными летними днями, и спали они в холоде и грязи, вони и нечистотах. Самым проклятым днем было воскресенье, когда было больше свободного времени, чтобы мучить несчастных евреев. Вдруг работающим арийцам дается команда покинуть город – со всех сторон стекаются они к воротам. Но не может же быть, чтобы немцы проявили столько великодушия и доброты, что оставили евреев в покое. Сердца бьются в ускоренном тяжелом ритме, и горестное беспокойство повисает в воздухе. Никто не может ответить на вопрос, что бы это могло значить – то, что ворота гетто открылись.

И вот он – тот самый, при виде которого еврейское население теряло самообладание и покой, чье появление наполняло людей страхом. Ближайшие дома и улицы опустели. С нетерпеливым беспокойством и бьющимся сердцем ожидают его приближения, чтобы узнать, какую же новую беду он несет и кого уже замучили до смерти.

<...>

В конце дня пришла немецкая полиция. Созвали все еврейское население, и был отдан первый строгий приказ: все – молодые и старые, а также дети должны срочно собраться на школьном дворе. Жены и родители жертв тоже не должны отсутствовать. Наступила мертвая тишина. Со всех сторон на людей были наведены автоматы. При малейших признаках сопротивления или шуме будут стрелять. Между толпой людей и виселицей выстроился большой отряд полиции. Со связанными за спиной руками мимо провели жертв в специальном [...], и еврейских полицейских заставили собственными руками вешать своих братьев.

Находящийся еще на площади Штайнмец послал людей за руководителями общины Эрлихом и Гурфинкелем<sup>52</sup>. Им он сказал: еще висят петли, в которых болтались головы повешенных, и они зовут следующие головы и бросают [...]

<...> объяснил им, что это строгий приказ. Тех, кого отберут и кто работоспособен, отправят в Аушвиц. Их жен и детей, а также нетрудоспособных отправятся в Малкинию<sup>53</sup>. Страшное оцепенение...

[...] все дрожали и волновались. Люди инстинктивно бросались [...] Возбуждение, страх и плач усиливались и от минуты к минуте делались все сильнее, пока все голоса не слились во внушающую ужас гармонию. Внутри каждого все бурлило, как в кипя-

<sup>52</sup> Дополнительными сведениями не располагаем.

<sup>53</sup> Малкиния (или Малкиния Горна) – большое село и железнодорожный узел близ г. Острува-Мазовецкого, место пересечения железных дорог Варшава-Белосток и Остроленка-Седльце. Здесь находился большой транзитный лагерь для евреев, где формировались или отстаивались эшелоны для отправки в лагерь смерти – Аушвиц и Майданек, но чаще всего в расположенную неподалеку Трешлинку.

щем котле. Жалобные голоса сливались в сплошной оглушающий плач, сотрясающий и разрывающий воздух.

Стоящие кругом дети не понимали того, что происходит, но, чувствуя и догадываясь, что происходит что-то ужасное, они плакали вместе со взрослыми. Их чистые детские голоса выделялись из общего гула, как большой [...], который сильную людскую боль дополняет искренностью своего звука. Маленькие дети на руках родителей с испуганными глазками и искаженными лицами прижимались к родительской груди и судорожно их обнимали.

[...] Лица с глубоко запавшими глазами выглядели серыми и потухшими. Время от времени казалось, что глаза оживали и, полные беспокойства, быстро и нервно двигались. В их глубине вспыхивало пламя кипящего гнева, от сознания беспомощности и от невозможности проявить себя, задыхавшееся изнутри. Боль, глубокая тяжелая боль и невыносимое страдание, стремились вырваться наружу. [...] стояли лицом к столпившимся людям и [...] из их черных глаз.

Одна женщина воскликнула: как-то в городе разразилась эпидемия тифа, и много людей погибло. И мы горько оплакивали молодых. Но как же все-таки им повезло! Их тихо похоронили в могилы Израиля. И кости их обрели покой! А мы – кто знает, найдут ли себе покой и где наши кости? [...]

<...> Но так ли уж важно, что я сама так жалко погибну и что мои кости не найдут себе успокоения, по сравнению с чудовищным несчастьем уничтожения моих детей! Это самое ужасное и страшное, что может случиться с матерью! И эти жестокие убийцы еще требуют, чтобы я сама везла своих собственных детей к месту массовых убийств. Мать должна помогать отправлять на смерть своих детей! Может ли случиться на земле что-либо более страшное? [...]

[...] Ориентация и окончательное [...] В первый момент от неожиданности возникли хаос и путаница. Каждый [...] вместе со своей семьей попытался что-нибудь спасти.

Один раз город уже пережил частичное выселение. Это было в 1941 году. С помощью полиции ежедневно [...] выгоняли в соседние деревни, такие как Сцелков<sup>54</sup> [...] и т.д. Бургомистр сделал тогда из этого большой гешефт. Те, кто при его посредничестве сдавали золотые часы, бриллианты или большую сумму денег, получали от него расписку в том, что ему с семьей разрешается остаться на месте. Тогда была выселена большая часть евреев. В конце концов, все успокоилось, но гешефт продолжался. Кто хорошо платил, получал разрешение вернуться в город.

Бедные евреи долго скитались. До тех пор, пока их не пригнали назад в грязь и нищету, в голод и холод. Но на этот раз людей выселяют очень далеко, при этом сказали, что все [...]. Так что нет никакой надежды на возвращение.

<sup>54</sup> Скорее всего это деревня Сельгов (Selgow) к северо-западу от Макова.

<...> начали они в большом количестве убежать из гетто в так называемую «колонию»<sup>55</sup>. Они брали с собой маленьких детей - свое самое главное сокровище, бросали свое жилье на произвол судьбы и бежали в колонии, чтобы там переждать и посмотреть, что будет дальше. В любом случае они выиграли уже тем, что не пошли в огонь первыми.

Когда родственники возвратились из общины, их сердца так сильно стучали из-за быстрой ходьбы, что у них перехватывало дыхание, и они не могли произнести ни одного слова. От потрясения и волнения их глаза дико сверкали, а покрывшиеся смертельной бледностью лица изменились до неузнаваемости. На мгновение их охватило полное оцепенение, пока они не осознали, что все это происходит наяву.

Но они очень быстро поняли, что времени нет, что необходимо срочно находить решение и действовать. Первым делом рассудили, что молодежь, которая ничем [...] не связана, должна бежать к местным крестьянам. У кого есть знакомый крестьянин, пусть отправит к нему хотя бы одного своего ребенка. Нужно попытаться спасти то, что еще можно спасти, и, чтобы детей-подростков подстраховать, решили дать им с собой деньги и ценные вещи.

...возможность. Сначала приготовились. Они надели самую лучшую одежду, под которой скрывались несколько пар нижнего белья. Самое важное – деньги и [...] можно было вынести из гетто. Из-за недостатка времени прощание было очень коротким. С горячей любовью и болью в сердце люди целовали и обнимали друг друга. Безграничным было отчаяние. Возникшая вдруг спешка настигла людей, как извержение вулкана. Как будто земля разверзлась под ногами или их уносило порывами ветра. Мы прощались навсегда: нас ожидала скорая смерть, их – трудная и пугающая неизвестность.

Спонтанные, прерывистые, жаркие проклятья, прорывающиеся между судорожными всхлипываниями, мгновенно оглушали и полностью парализовывали людей. Оставалось единственное желание: пережить войну и отомстить за невинно пролитую кровь родителей, младших братьев и сестер.

Затем паковались необходимые вещи и одежда. Одну за другой люди натягивали на себя пары белья, а поверх надевали свои лучшие костюмы. Брали с собой хлеб и открытые из земли и зашитые в одежду деньги. Большинство искали себе временные убежища<sup>56</sup>, а потом выходили на улицу, чтобы узнать, что там происходит.

Было известно, что Эрлих и Гурфинкель встречались с бургомистром, который [...] так же, как и вся немецкая жандармерия, прибирал к своим рукам еврейское имущество. Как пиявка, высасывал он евреев и, мучая, доводил их до смерти.

После поднесения ему богатого подарка они начали откровенно обсуждать с ним свою судьбу. Он сказал, что ситуация очень серьезная и что никакого выхода нет. Он

<sup>55</sup> По всей видимости, постоянные или временные рабочие поселки для занятых на лесо- или торфодобыче.

<sup>56</sup> Так называемые «малины» (или, точнее, «мелины»).



лично советовал бы записываться в ряды труднепригодных для отправки в Малкинию или Аушвиц.

Для нас такое положение вещей было еще более печальным. Это означало, что и Аушвиц, и Малкиния означают одно и то же – неизбежную смерть! Разница заключалась лишь в том, как долго будут длиться мучения и страдания и что перед смертью должен будет вынести человек.

Было принято общее решение: нет, просто так на смерть мы не пойдём, нам нечего терять, и мы будем сопротивляться кто как сможет: одни активно, другие пассивно. Вместе с нашими женами и детьми мы погибнем, но как герои. Здесь, в Макове есть три кладбища, пусть к ним добавится четвертое. Там найдут кости наших [...], мы же погибнем вместе с ними и будем похоронены в одной братской могиле [...]

[...] Когда моя жена пришла назад с улицы, она спросила меня: «Какая разница, пожертвую я своей жизнью или нет, если у меня есть такое сокровище – мой ребенок?» В ее голосе слышалось безграничное отчаяние. Она стояла, дрожа всем телом, и ее взгляд, направленный на нашего единственного восьмилетнего сына, был полон печали.

Одно мгновение мальчик внимательно наблюдал за матерью: вдруг его лицо исказилось гримасой, после чего он истерически зарыдал. Вздрагивая, сидел он на стуле и жалобно кричал: «Папочка, я хочу жить, сделай все, что можешь, чтобы я остался жить». Как и все дети войны, он видел во время эпидемии тифа [...] много мертвых, лежащих на улицах, и сполна ощутил весь ужас смерти. Его охватило отчаяние. Охваченный глубоким страхом, который излучали его детские глаза, он горько рыдал. Его сердце билось в ускоренном и почти слышимом ритме. Ни на минуту не смолкая, раздавался его душераздирающий плач, его непрерывная мольба к отцу о помощи. Нервные покачивания его тела вперед и назад, его посеревшее личико расстрогали бы любое живое существо. [...] Воображение уже нарисовало ему весь ужас смерти.

Глубоко потрясенные и подавленные, со сжавшимся от боли сердцем, сторбившись, сидели мы – я и моя жена. Глотая слезы, вместе с ним переживали мы его страшную боль. Мы обменивались друг с другом взглядами, полными боли и горя, чтобы этими понятными нам беззвучными тайными знаками хоть немного облегчить наши онемевшие сердца. Но мы так и не нашли для него ни единого слова утешения. Только еще ниже вжимались наши головы в шеи, а сердца беззвучно плакали вместе с ним.

Вдруг мы услышали, что его плач усилился: может, мне уже пора начинать читать псалмы и молить бога о том, чтобы Гитлер погиб от руки еврейского подростка под ударами брошенных в него камней? Ах, если бы я мог предстать перед ним и побороть его, как Давид Голиафа! И тут же я взял Сидур<sup>57</sup> и начал читать псалмы. Каждое мое слово было наполнено глубокой болью, но в промежутках между предложения-

<sup>57</sup> Еврейский молитвенник, включающий в себя различные синагогальные и домашние молитвы.

ми слышны были истерические всхлипывания. Детский голос утопал в тяжелых слезах. Каждую минуту он перебивал меня и кричал срывающимся голосом: «Что же мне делать? Я хочу жить!»

Наши сердца кровоточили; они были полны боли. Мы не шевелились, словно прикованные к месту. Кто-то сказал нам, что в такой момент утешать ребенка обманом – аморально. Но столь чувствительный ребенок сам справиться с такой страшной болью не в состоянии. Я подошел к нему и погладил по голове, бережно прижал к себе и сказал: «Сынок, мы спрячемся на чердаке,ждемся, пока жандармы уйдут из города, а потом убежим к какому-нибудь не-еврею и переживем войну» [...]

Когда наступила ночь и наш сын заснул, жена присела на его кровать и нежно погладила его. Ее большие голубые глаза, полные нежности и материнского тепла, смотрели на него с таким пронизывающим вниманием, что я подумал: вот, в единственном взгляде могут найти себе выражение все человеческие чувства. Из ее глаз непрерывно лились слезы, и до меня доносился ее шепот: «Сынок, как же мне тебя спасти? Ах, как бы я была счастлива!»

И так она сидела очень долго в мертвой тишине с переплетенными руками и опущенной головой. Казалось, что ее порозовевшие щеки светились изнутри, а ее изменившееся лицо окаменело от боли и страдания. Ее взгляд каждую секунду соскальзывал в сторону сына, а внутри плакало ее сердце. Вдруг я услышал гневное и одновременно жалобное всхлипывание: «Почему, мой сынок, ты должен погибнуть таким молодым и так страшно?»

Я чувствовал, что близок к тому, чтобы потерять мужское самообладание и силы к сопротивлению, что-то толкнуло меня в тихий угол, где я мог плакать. «Дебора! – позвал я – спустись вниз к соседям и попробуй узнать, остаются ли они здесь [...] или собираются убежать? Может быть, мы сможем вместе спастись?»

Моя жена как будто проснулась после глубокого сна: «Я не могу уйти! Самуильчик притягивает мое сердце...». Ее голос вдруг захлебнулся слезами, и я понял, что задел открытую рану.

Я замолчал и начал дрожащими от волнения руками нежно гладить ребенка, страстно и горячо целовать его в лоб. Инстинктивно я почувствовал, что ее возбуждение стихает, и она начинает успокаиваться. Наступил подходящий момент, чтобы сказать ей: «Дебора! Ты такая любящая мать, но нам нужно трезво обдумать, что делать». – «Лейб, – ответила она – я бы хотела успокоиться, чтобы не огорчать тебя, но не могу! Когда я смотрю на эту невинную жертву, у меня закипает кровь, и сердце мое переполняется страданием. Я понимаю, ты хочешь, чтобы я успокоилась, и посылаешь меня к соседям, чтобы заглушить мои страдания. Ты мой дорогой муж, верный и преданный, ты мое сокровище».

Вдруг ее голос зазвучал медленнее, расплывчатее и сердечнее. Мне показалось, что она внутренне сломалась, сдалась, и что ей посто не хватает слов, чтобы выразить

всю свою боль. Я вдруг почувствовал, как эта боль пронизывает и меня вспыхнувшими горящими глазами. Было тихо, и мое сердце застучало быстрее. Меня захватила ее боль, и безграничное сострадание овладело мной. В огромном напряжении и с глубоким сочувствием мы смотрели друг на друга [...] «Я увеличиваю твою боль, ты же прекрасно понимаешь меня. Но это первый – самый трудный и критический момент [...] Успокойся, возьми себя в руки, наберись героической силы. Давай обдумаем наше положение».

Мои слова помогли ей только немного успокоиться, но не смогли переломить ее настроение. Она положила руки на колени, широко раскрыла свои преданные глаза [...] и с глубокой печалью и страхом тяжело вздохнула. [...] Тихо переживая, она погрузилась в раздумья, пока ее голос [...]. Она повернула голову налево, в сторону сына, и из ее глаз ручьем полились тяжелые слезы: то изливалась вся её материнская любовь. Через несколько минут она успокоилась, поднялась с кровати, подошла поближе ко мне и изучающе посмотрела своими широко открытыми глазами; словно ей хотелось заглянуть в самую глубину моего сердца. Я сердечно обнял ее и с горячей любовью прижал к груди. Долго-долго я гладил ее и молча утешал своим горячим сочувствием.

Постепенно она овладела собой и воскликнула: «Это правда, что преданная жена умеет владеть собой в любой ситуации».

Ты знаешь, что всю нашу жизнь я старалась не доставлять тебе лишних огорчений, но в жизни возникают такие ситуации, когда это очень трудно сделать». Она подошла к ребенку и, сердечно целуя его, сказала: «Я спущусь вниз к соседям» [...]

Когда жена вышла, я остался сидеть в глубокой задумчивости, перебирая события сегодняшнего дня. Перед глазами всплывали моменты, когда материнская любовь оказывалась сильнее всего остального. Какая трагедия, какая безграничная боль, когда мать, сознавая собственную беспомощность, должна оплакивать будущую смерть своего здорового, молодого, свежего и цветущего ребенка, не имея возможности спасти его от рук бессердечных убийц!

Женская преданность, неотделимо слившаяся с острой болью, бурлящий поток чувств, постоянно меняющихся, и одновременное желание сохранить самообладание в этом огромнейшем несчастье заставляли ее страдать от сознания еще и того, что она смертельно мучает своего мужа. И это чувство в ней победило. На одно мгновение я забыл наше страшное несчастье и восхитился ее душевной силой. Погруженный в эти раздумья я вдруг ощутил, как что-то гложет меня изнутри. Я вздрогнул и вскочил. В моих ушах снова зазвучали слова сына: «Папочка, я хочу жить, сделай что-нибудь, что ты можешь, чтобы я остался жить! Сделай все, что ты только можешь, я очень хочу жить!».

Я стоял у кровати сына и запоминал черты его лица: всматривался в изгибы его бровей, носа, ушей и даже ногтей на пальцах его рук. Скоро исполнится мое реше-

ние, и я должен буду с ним расстаться, с живым или мертвым. Я должен сейчас вдоволь насмотреться на это лицо с его глубокой печалью, отчаянием и плачем, чтобы оно навсегда запечатлелось во мне и в моих глазах.

Долго стоял я так и чувствовал, как моё «я» растворяется в сыне, сливается с ним. Я представил себе всю безнадежность моей жизни после потери ребенка и бессмысленность моего существования, которое стало бы только мучительнее. Я судорожно вздрагивал от страха и ужаса перед завтрашним днем...

Вдруг из моего рта, как из источника, вырвались тихие душеразрывающие слова, как будто излившиеся из самых глубоких тайников моей души, - больно ранящие слова, слова, от которых в жилах застывает кровь, слова, которые так на меня подействовали, что все когда-то прозвучавшие на земле показалось пустым и бессмысленным по сравнению с моей катастрофой.

Неутихающая боль и чувство полной разбитости полностью оглушили меня; всю свою огромную и страшную трагедию воплотил я в медленно произнесенном, оборванном звуке одного-единственного слова, которое с глубоким вздохом сорвалось с моих губ и вобрало в себе весь ужас моей судьбы: «Самуильчик, мой Самуильчик!...». Я еще долго выкрикивал его имя. [...] жульнический обман [...]

Штайнмец, который всегда демонстрировал свой ужасный грубый характер и жестокость, вдруг втерся в доверие к людям тем, что не насмехался над ними. На этот раз он делал вид, что говорил всю «правду»: ему не удалось добиться выполнения требований местного ведомства. Это было также и не в его пользу.

Он надеялся стать наследником богатых домовладельцев, которые уже и так успели сделать его довольно богатым. Ему хотелось произвести на них хорошее впечатление, так как он надеялся, что они останутся с ним в контакте до последней минуты. Он очень хорошо усвоил обычный нацистский стиль обмана и одурачивания.

В половине третьего он появился еще раз в гетто и вызвал руководителей общины к воротам [...] Сразу после этого Эрлих созвал еще раз все еврейское население в общину.

Люди начали заполнять эти проклятые помещения. Их движения уже не были нормальными, а выглядели нервными и торопливыми. Их бледные лица были отмечены печатью страха, их глаза, потускневшие, безо всякого блеска, или сердитые, угрожающе горящие, – весь печальный человеческий хаос.[...] И только беспокойно бьющиеся сердца объединяют эту возбужденную толпу. [...] стоят в напряженной тишине и их сердца [...] стучат в ускоренном ритме [...] Они стоят и слушают (объяснения) Эрлиха.

Штайнмец указал на некоторые недоразумения, о которых он только теперь рассказал [...] Работоспособные едут не в Аушвиц, а ближе к Катовицам, на работы в угольных шахтах. Работоспособные мужчины могут взять с собой жен и детей,

с которыми они будут проживать вместе [...] Будет созвана комиссия [...], которая будет определять, кто работоспособен, а кто нет. С собой разрешается взять два костюма, один выходной и один для работы, две пары белья и еще запасную пару белья, пару ботинок или сандалет и чемодан одежды. Не разрешается брать подушки и пуховики [...], никакой валюты или ценных вещей. Тот, кто возьмет с собой что-нибудь из запрещенных вещей, рискует собственной головой.

Неработоспособным не разрешалось брать с собой ничего. [...], что это произойдет не раньше 18.XI. Как позже оказалось, это был большой, рафинированный блеф, который должен был сбить с толку работоспособных и сделать невозможным любое сопротивление. Но в первое мгновение он способствовал наступлению относительно покоя, так как, во-первых, у нас появилось ещё несколько дней для обдумывания возможностей побега – фантазеры допускали даже, что еще возможно что-то придумать, чтобы сделать выселение невозможным, а, во-вторых, семьи должны были ехать вместе!

Сразу возникли две партии с разными мнениями: первые наивно верили в обещанный отъезд и обосновывали это тем, что он для них [...] – для чего же им тогда обманывать, ведь немцы уже и так показали себя по отношению к евреям достаточно жестокими. Другие считали, что первое объяснение Штайнмеца более правдоподобно и обосновывали это тем, что и бургомистр сказал то же самое и что подобным же образом евреев вывели из Легионова<sup>58</sup> и, наверное, убили. Не может быть, чтобы существовал такой большой лагерь, и никто не подавал оттуда даже малейших признаков жизни. Ведь невозможно пройти мимо кладбища и не заметить его.

Аушвиц, – утверждали они, – это лагерь, куда отправляют преступников и спекулянтов. Преступное обращение с заключенными, циничная жестокость и ужасные истязания, практиковавшиеся в соседних лагерях Пшасныша<sup>59</sup>, Млавы<sup>60</sup>, Цеханува<sup>61</sup> и Плонска<sup>62</sup>, были нам хорошо известны: волосы на голове встали дыбом, когда мы об этом слышали. Только от специально дрессированных диких зверей и бестий можно было ожидать такое нечеловеческое изуверство.

<sup>58</sup> Во время войны в Легионово – небольшом городке к северо-востоку от Варшавы (район Нови Двор Мазовецкий) располагались гетто и еврейский рабочий лагерь, размещавшийся, предположительно, в казармах отделения шталага 368 (центральный лагерь – в Беньяминово). Лагерь ликвидировали в 1943 г., а его узников вывели в неизвестном направлении.

<sup>59</sup> В 1941 г. в Пшасныше, городке к северо-западу от Макова-Мазовецкого (во время оккупации – также в бецирке Цихенау) был рабочий лагерь, разместившийся в монастыре ордена Сестер св. Фелиции. В лагере находились поляки, польские евреи, литовцы и украинцы (всего около 100 человек), работавшие на строительстве дорог. В 1943 г. лагерь был ликвидирован, а его заключенных перевезли в Штуттхоф.

<sup>60</sup> Город в бецирке Цихенау. В 1940 г. там был устроен рабочий лагерь, располагавшийся в здании тюрьмы на улице Нарutowича. В нем содержались около 200 заключенных поляков и польских евреев, использовавшихся на общественных работах. При ликвидации лагеря 17 января 1945 г. все евреи были убиты.

<sup>61</sup> В декабре 1940 и марте 1941 гг. несколько тысяч евреев из бецирка Цихенау были переселены в Генерал-Губернаторство, в районы Люблина и Радома. В 1941 г. в Цехануве и его окрестных городках были созданы гетто. В ноябре 1942 г. началась их ликвидация: их жителей отправляли в Трелинку или Аушвиц, нередко с промежуточными остановками в Малкинии или Млаве.

<sup>62</sup> В 1941-1942 гг. в Плонском гетто проживало около 5000 евреев из Плонска и окрестностей. Всего же через гетто прошло около 12 тыс. чел. Его узники работали на заводах и на уборке города. В ноябре 1942 г., одновременно с Маковским, Плонское гетто было ликвидировано, а всех его обитателей отправили в Аушвиц.

[...] Были особые причины для того, чтобы убедиться в правильности таких взглядов, особенно причины для изменения отношения немецких учреждений к населению. Тот же самый Штайнмец стал настолько мягким и чутким, что при его появлении на территории гетто вокруг него собиралось все обитатели и спокойно слушали речи, с которыми он к ним обращался. Он говорил так, чтобы людям могло показаться, будто он о чем-то глубоко сожалел. У умных людей вся эта фальшь и подлое лицемерие вызывали отвращение и тошноту. Да, ему, бедному, было больно расставаться с нами, но только оттого, что больше не будет тех, из чьих костей можно было бы еще повыжимать последние соки и на этом сделать большой капитал.

Или вот немецкие жандармы, которые раньше приходили в гетто, преисполненные гордого презрения и с высоко поднятыми головами, бросали вокруг жестокие угрожающие взгляды и во время переключки угрожающе размахивали резиновыми дубинками, пугая проходящих мимо людей, рискующих своей жизнью, которую они для собственной утехы топтали ногами, и шагали вперед так, как если бы больше всего их интересовало услышать эхо собственных шагов. И вдруг они же приходят в гетто, вежливые и общительные, с нежными и мягкими взглядами, чуткие и приятные. Они навещали знакомых, беседовали с ними, глубоко сочувствовали им и подолгу вместе прогуливались.

Все это выглядело необычно, но было хорошо продумано и имело определенную цель: отобрать и те деньги и собственность, которые они при помощи власти и насилия так и не смогли заполучить. Они ожидали, что евреи попадутся на волшебный крючок их «доброты» и одарят их, своих верных друзей, своими богатствами. Свое истинное лицо, непредставимо преступную натуру показали они только в день выселения. Только тогда те, кто поверил им, потеряли свои прежние иллюзии и надежды, но было уже поздно [...]

На улице [...] возвратившись из правления общины, все достали богатые запасы продуктов, которые заготовили на зиму, и раздавали их, также как и бельё, одежду и топливо. Община открыла свои подземные хранилища картофеля, чтобы он там не замерз. Каждый мог получить разные продукты. Капитал был закопан у забора и проходящих мимо поляков просили позвать их знакомых из города или из ближайших деревень. Самые лучшие и красивые вещи упаковывали вместе с украшениями и бросали польским приятелям через забор. Их просто забросали сокровищами и богатствами, но у людей было только одно желание, чтобы не немцы нажились на их несчастье. В течение всего дня люди перепрыгивали через стену и снова покидали территорию гетто. Религиозные евреи сообщили о завтрашнем Таанит-циббур<sup>63</sup>, который все соблюдали.

Самые последние сообщения Штайнмеца породили большую путаницу и разрушили существовавшее ранее единодушие обитателей гетто. Многочисленные дискус-

<sup>63</sup> Общий пост.



сии не приводили к окончательной ясности, и весь этот день прошел под впечатлением неожиданных событий, которые все-таки всех удивили.

Эту первую ночь люди провели без сна. Все с нетерпением ждали утра, беспокойно крутясь в кроватях. У всех было чувство, что они находятся во временном отеле. И все чувствовали себя неуверенно, как будто потеряли почву под ногами, всех мучили тяжелые предчувствия.

Еще за два часа до рассвета вышли на улицу: одни стояли, другие ходили взад и вперед. Нетерпение поднимало их из постелей, а нервы выгоняли из помещений. Все разговоры касались одной актуальной темы: когда Штайнмец говорил правду – тогда или теперь? Как нам себя вести? Возможно ли перезимовать в лесу? Кто из знакомых крестьян мог бы взять к себе детей?..

Из-за этих дискуссий даже воздух на улицах пропитался серьезностью момента; любая точка, любой угол, где встречались два человека, превращались в место для обсуждения. Когда рассвело, люди узнали, что местный врач, берлинский еврей, пожилой, болезненный и очень интеллигентный человек, отравился вместе со своей женой. Он оставил адресованное Штайнмецу письмо, в котором написал, что за десять лет работы под нацистским режимом уже достаточно хорошо ознакомился с его убийственным, жестоким, диким и звериным отношением к евреям.

Не помогают ни обращения, ни просьбы, которые должны были бы вызвать у убийц хоть малейшую человеческую реакцию. Поэтому он решил уйти из жизни сам, не дожидаясь гибели от рук убийц.

Этот поступок и убежденность тех, кто к тому же долго жил в Берлине, непосредственно под боком у нацистов, и совершенно четко себе представлял неизбежность смерти, повлияли на настроение и состояние жителей гетто как гром с ясного неба, как взрыв бомбы. Это привело к тому, что людское беспокойство подскочило настолько, что и без того уже лишённое последней капли надежды еврейское население совершенно сломалось: «Мы пропали, мы погибли...» [...]

Уже больше года люди в гетто страдали от нехватки воды. Город находился около пруда, но людям с большим трудом удавалось удовлетворить эту одну из основных человеческих потребностей. Каждый день под строгим полицейским контролем на короткое время открывались ворота гетто, и все население бросалось к этим особым воротам, открытым в сторону пруда, чтобы принести немного воды для самых необходимых потребностей в домашнем хозяйстве. И сегодня люди тоже бежали к пруду, но не для того, чтобы набрать воды, а, наоборот, чтобы прыгнуть в воду, чтобы покончить с жизнью, чтобы утопиться – и раз и навсегда исчезнуть с этой несчастной земли.

Через несколько дней лопнула, как мыльный пузырь, и самая последняя надежда и утешение. Почти все, кто убежал в поисках убежища, вернулись в гетто. Они рассказали, что даже самые доверенные крестьяне не соглашались никого у себя спрятать.

Немцы запугали их, пригрозив, что за укрытие евреев их будут убивать. Никому не удалось найти для себя никакого места, даже в хлеву. Они бродили по полям и лесам, и когда уже падали от усталости, то засыпали прямо в снегу, коченея от холода. Они никого не встречали, поэтому не могли получить теплой еды. От каждого издали услышанного голоса их пробирала дрожь, ведь это мог быть и жандарм. Грязь разъедала их тела, их мучил смертельный голод.

Война будет еще длиться заведомо больше одного месяца, так что выжить невозможно. Как если бы это проклятый человек, которого мир вышвырнул, а злые духи схватили и оставили у себя. Так одиноко в середине, в центре земли - планеты, которая существует для всех, кроме них, евреев. Бессильные и обманутые, изможденные и покорные, вернулись беженцы назад в гетто, лишившись своей последней иллюзии и последней надежды. У них уже не было больше никакой инициативы, и вся земля стала для них тесна.

Даже их последнее и единственное утешение тем, что несколько сотен молодых людей – ребенок, брат, жена или муж – могли бы спастись, оказалось обманом. Приближалась гибель. Все были немилосердно опутаны огромными сетями, которыми еще раньше нам связали ноги, чтобы лишить любой возможности двигаться и искать последний шанс на спасение.

Из соседнего города Цеханува дошло известие, что оттуда уже изгнаны все евреи<sup>64</sup>, в том числе и многие жители Макова, работавшие там в разных местах. Никогда больше они не увидят своих детей и жен. Они расстались навсегда. Хаос истребления и уничтожения достиг своей высшей точки.

## Глава 6 В пути

Во вторник опять собрали детей, учеников Талмуд-Торы<sup>65</sup>, нелегально функционировавшей, несмотря на тяжелые условия в общине и благодаря религиозным евреям и демонстративно принятому решению. Такие чистые, такие невинные [...], такие идеальные, так преждевременно [...]убрать с земли [...] уничтожить, хотя они только и успели что расцвести.

Детям объяснили [...] их родителям, братьям и сестрам большую общую группу [...] Им описали серьезность ситуации [...], чтобы они ориентировались правильно.

<sup>64</sup> Первый транспорт с евреями из Цеханувского гетто в Аушвиц был отправлен 7.11.1942. В нем находились 1500 человек: после селекции 694 из них были оставлены в лагере, в том числе 465 мужчин (с номерами от 73431 до 73995) и 229 женщин (с номерами от 23734 до 23962). Остальные 806 человек – дети, матери с детьми и старики – были отправлены в газовые камеры. (Czech, 1989, С.334). Подобные транспорты с евреями из бецирка Цихенау формировались и отправлялись вплоть до середины декабря 1942 г.

<sup>65</sup> Буквально: «Учение торы» – еврейская начальная школа, содержащаяся из средств общинного фонда. В ней изучался единственный предмет – иудаизм. В Восточной Европе такие школы предназначались для сирот и бедных детей. Свидетельство об окончании этой школы давало право на поступление в высшую школу – йешиву. Юденраты не могли организовывать и содержать такие школы, поскольку в гетто допускались только частные – как начальные, так и профессиональные – школы.

Отчаяние было безгранично; все было ясно <...> Серьезность судьбы преодолела слабость их детского характера. Их сердца были [...] очень, очень [...] и они все это в себе задушили.

Только когда начали читать псалмы и [...] вдруг, как непредставимый взрыв [...] плач оглушил всех слушателей. <...>

Плач от минуты к минуте набирал силу и раздавался все громче. Становился все трогательней и [...] до конца главы, когда вдруг наступила тишина, и напряженная атмосфера оглушила эхом и отзвуком их голосов, которые как-то особенно глубоко трогали сердца. Пронзительные и тяжелые вздохи прорезали воздух. И только когда начали следующий абзац, нашлись и слова для выражения бесконечной боли. Давящая тяжесть бессильного отчаяния растворялась, и отдельно существовавшие миры слились в один и огромный, прозвучавший в давно погасшем чувстве [...]. Слившись в единое целое, многочисленные разнообразные вздохи и всхлипы обрели такую силу, что потрясали самый сильный характер, проникали в глубоко потаенные закоулки души и, как высоко поднявшаяся волна, захлестывали все.

Все были возбуждены и глубоко потрясены этой страшной трагедией. Кто бы ни проходил по улице, останавливался, и его уши пронзали эти перехватывающие дыхание, глубоко трогаящие, идущие из глубины сердца, наполненные болью слова [...], которые пробуждали сострадание и являлись выражением нечеловеческой боли.

<...>

Людей принимали в алфавитном порядке, регистрационная книга общины была предъявлена. [...] зачитывали очередные номера, и все население [...] семьями проходили перед комиссией, которая в общем виде их осматривала. Было так [...], что тот, кого записывали работоспособным [...], тому же, кого определяли неработоспособным, – смертный приговор. Приносили бриллианты, золотые часы и т.д. и все это отдавали, чтобы попасть в группу работоспособных.

Члены комиссии собрали много ценностей и соответствующие проценты – группа из пятисот неработоспособных сократилась на несколько десятков человек. Те же, кого включили в группу работоспособных, не теряли своих иллюзий до последней минуты. Они словно позабыли о своем трагическом положении, зато помнили, что есть люди в значительно худшем положении, чем они, например, признанные неработоспособными. Они так и не поняли, что все это обыкновенный блеф, обманный трюк [...] и что они тоже самое [...] придумали [...] из разных комбинировали [...]

[...] Женщины с маленькими детьми [...] их новые мужья и скрытое в жизни [...] Очень умные люди превращались в наивных простачков [...] Это глупое доверие сохранялось до тех пор, пока люди собственными глазами не увидели [...]. Люди пребывали в [...] Те, кто были признаны неработоспособными, чувствовали себя так [...] в большом отчаянии и предчувствии своей скорой гибели. Живые трупы [...]. Они шли в глубокой печали и выглядели очень мрачными. Они не ели и не пили. Они

прощались с каждым встреченным ими человеком. Тяжеловесность их походки, замедленность их движений, тяжелые [...] бледные лица, печальная пронизательность глаз, в которых прятался дикий страх, срывающийся голос и отсутствие темперамента делали их сразу и легко узнаваемыми [...] Они шли, как во сне, не заботясь о своей одежде [...] Образовались две группы: работоспособные и неработоспособные, которым общее братское сочувствие выражалось [...] до известной степени отделяло одних от других [...] общее явление последнего периода [...]

Между тем [...] прошли тяжелые, трагические дни. Детская жизнерадостность исчезла, и не осталось даже следа от их собственного мира. Тихо, серьезно и мрачно жались они к своим родителям. Они следили за каждым их шагом и напрягали уши, чтобы услышать слова взрослых, самих душевно сломанных и разбитых, говоривших доверительно и тихо. Они хотели понять свою участь. Они чувствовали, что тайна их существования известна только взрослым, которые все знают и все понимают. И они ломали свои головки, пытаясь понять свое положение.

Но они чувствовали инстинктивно, своим особым детским чутьем, и переживали то же, что и их родители. А родители не спускали с них глаз. Дрожащие и нервные, смотрели они за детьми, нежным и внимательным взглядом следили за каждым их движением. Детская интуиция угадывала все это. Да, они точно знали, что это последние дни их жизни. Женщины сидели в комнатах и напевали мелодии, полные бесконечной боли и страдания, и вздыхали о стоящих около них детях и мужьях, с которыми они скоро расстанутся, которые навсегда исчезнут. Их глаза смотрели с пронизывающей остротой, как загипнотизированные [...] волны материнской заботы исходили от них [...], смертельный страх наполнял их. И так сидели они очень долго, углубившись [...]

Вдруг вернулась мысль об угрожающем всем завтра. Матери сидели за столом и кормили своих детей. Горькие слезы лились из их глаз. Они брали с собой маленьких детей, когда выходили на улицу. Они стали нежнее, а их чувства горячее. Они не хотели ни на минуту оставаться без детей. Если ребенок выходил на мгновение из дома и потом возвращался, то мать встречала его, останавливала в дверях и наблюдала с любовью. При этом ее лицо было залито слезами. Она отворачивалась, чтобы ребенок не увидел слез и не расстроился. Он был очень чуткий и понимал каждое движение. Мужчины сидели в комнатах одни, замкнувшись каждый в себе, и долго молчали.

Головы переполняли тяжелые мучительные вопросы, на которые не находилось ответов: они не видели выхода. Проблемы были такими болезненными, что никому не хотелось говорить о них с другими, каждый оставлял их себе.

Люди мало говорили; хорошее настроение покинуло их. И печать серьезности не сходила с лиц.

На улице нельзя было увидеть нормально идущего человека; люди передвигались очень медленно или очень торопливо. Мужчины стали обращаться с женщинами мягче и нежнее. Им хотелось скрыть свою беспомощность, и они пытались помочь им своей верностью. На улицах можно было увидеть небольшие группы людей, они больше молчали, чем говорили. Они внимательно изучали всю трагедию по лицам их спутников, которая была видна в этом живом зеркале.

С наступлением долгих вечеров люди начали собираться в квартирах соседей. Они сидели и часами рассказывали друг другу о чудовищной и смертельной злости и о разных способах и средствах, при помощи которых в разных городах грабили евреев. Обсуждали беззащитность и бессилие, страшную судьбу евреев и основательную систематичность при их уничтожении. Люди были в сильном беспокойстве и бессознательно дрожали от страха [...] взрывались. Ежеминутно они замолкали; головы не шевелились, и кровь застывала в жилах. Серьезно обдумывали ситуацию. Глубокие, тяжелые вздохи сидящих толкали на мучительные размышления.

Когда люди ложились спать, они переворачивались с одного бока на другой от возмущения, боли и беспокойства, тяжелые страшные картины возникали в их сознании и мелькали перед глазами.

Усталые и изнемогающие, они пытались найти покой во сне, но стоило глазам закрыться, как сразу вырывали из сна ясные трезвые мысли, мучили и кричали. Как может уснуть отец, который еще не нашел способа спасти своих детей от смерти, но который по-прежнему с ними общается? [...] тоже счастье, использовать свободное время для того, чтобы плакать, а участь жены и ребенка его не беспокоят [...]

Он только работает для немцев. Лучшие сапожники, портные, часовщики и т.д. работали [...] Это было маленькое гетто среди других таких же гетто в [...] Немецкие заказчики могли приходить. Их заставляли день и ночь работать на немцев [...], а когда пришло время выселения, им не разрешили

[...] их страшную трагедию понять [...] физическую смерть. Их души была убиты [...] их мыслями, и они были превращены в механизм, который должен был скрыть и заглушить главные человеческие чувства [...] на край пропасти привел. И вот берет он и кроит [...], и шьет для него роскошные костюмы [...] Их циничные требования не имеют человеческих границ [...]

В гетто разрешили придти [...] двадцати юношам из Плонска, обессиленным, с глубоко запавшими глазами, избитым [...] кнутами, их тела покрывали многочисленные красные шрамы. Их брюки превратились [...] в лохмотья, длинные худые [...] ноги [...] не указывали на то, что когда-то они были частью прежнего человека [...] босиком зимой, а другой [...] лежал на голых камнях [...] Они были так сильно избиты, что были не в состоянии шевелиться [...] они думали

[...] Дату выселения официально назначили на 18. 11. Накануне этого дня община собрала людей на общинной площади для того, чтобы обо всем проинформировать

и обсудить все подробности предстоящего отъезда и ближайшее будущее [...], руководит населением, чтобы окончательно для такой печальной [...] расстаться.

В 12 часов дня в последний раз собралось все население, чтобы огромное несчастье, всю боль и все страдания, пережитые каждым, оплакать вместе, чтобы возбужденные чувства, наполнявшие каждое сердце, слились в общую боль. Чтобы полный поток боли превратился в густой сплав, и несмываемый [...] создать тому, что разрывает и подавляет сознание, чтобы, насколько возможно, выразить это глубоко, остро и полно.

Стояла тишина, исполненная глубокой серьезности и напряженного молчания, когда Гурфинкель и Эрлих обратился к пока еще живым жертвам. Оба чувствовали себя слишком малыми для того, чтобы нести весь груз трагической ответственности этого момента.

Они явно [...] не доросли до такого сверхобычайного момента. Говорили очень кратко, но эти слова сотрясли души, поток страдания и гнева разливался вокруг людей, и их пылающие жаркие чувства нагревали холодный зимний воздух. Они разъяснили подробности следующего дня. После этого выступал раввин из Красного<sup>66</sup>; он призывал толпу к душевной стойкости и внутренней силе, к тому, чтобы держаться всем вместе.

Самым мужественным и проникновенным было последнее выступление даяна из Макова<sup>67</sup>. Он говорил совершенно открыто и предупреждал об обмане. Нужно быть зрелыми и готовыми к тому, что нас поведут к неизбежной смерти. Покидая свои дома, нужно проститься [...] со всеми близкими, с женой, с детьми. Это необходимо, потому что мы отдаем нашу жизнь за веру и с чувством большой еврейской гордости. Из всего того, что касается нас освящающей ориентации, мы должны сделать тот вывод, что это единственное, не имеющее примера в еврейской истории, испытание. И мы должны ему соответствовать.

Камни стали мокрыми от наших слез [...], ими наполнился воздух, и многие люди со всей ясностью осознали серьезность этого момента, своего рода единственного в жизни, ведь ничего подобного еще никогда не происходило. Каждый чувствовал, что весь его жизненный опыт слишком мал и недостаточен для того, чтобы оценить весь огромный масштаб ответственности этого момента.

В большом напряжении ловили они каждое слово, но им не хватало решительности. Настал час трагической действительности, полный беспокойства и страха. С печалью и возмущением мы должны [...] были быть готовы к таинственной гибели, время и место которой от нас скрывали.

<sup>66</sup> Местечко на Украине на железнодорожной линии Львов-Броды.

<sup>67</sup> Автор пишет здесь о себе в третьем лице.

Это было достаточно страшно и само по себе. Но у большинства людей не было заметно даже малейших признаков душевной слабости или страха, сохранялись самообладание и покой.

Но до [...] героического поступка, как того требовал момент, они не возвысились. [...] Люди вернулись в свои жилища, чтобы проститься с самым большим старым другом, которого они в своей жизни имели – с немым, терпеливым, замечательным товарищем, лучшим регулятором нашего скромного мира, с тем, чем был для каждого его дом. Испуганно прощались с лестницами, стенами, обстановкой.

Больше всего сожалели о своей кровати. Собственно, только сейчас и осознали, какое это сокровище, только в последний момент, когда отдали себе отчет в том, что они нас и этого лишат. В последний раз приготовили себе теплую еду и согрели дрожащее тело, застывшее от ужаса и холода. Потом наше внимание привлек рюкзак, символ еврейского изгнания, который кожаными ремнями держится на спине [...], чтобы можно было собраться и вместить все нужные в дороге вещи, без которых нельзя обойтись. Немного самых нужных вещей уложили в рюкзак так, чтобы его было удобно нести.

Тяжелое впечатление производила эта сцена, печальная мелодия которой напрягала наши нервы. В один сверток завернули самое необходимое, потом искупали маленьких детей и уложили их спать. И только потом каждый собрался в своем доме, вместе со своими близкими и самыми любимыми людьми. Последние, считанные часы, которые ему остались, сближали и еще теснее связывали его со своей семьей.

Соседского порога не переступали. В душевной близости, в сердечной любви, слившись в полной гармонии, люди тихо жаловались, оплакивали детей и трогательно прижимались друг к другу. В этот час величайшего отчаяния до самого позднего можно было слышать глубокие вздохи, сотрясавшие каждое человеческое существо.

## Глава X Накануне выселения

Накануне выселения весь город был на ногах. Первыми разбудили самых дорогих созданий – детей. На них надели теплую чистую одежду, хорошо её завязали и застегнули. Потом надели себе на спины рюкзаки, взяли за руку детей и вышли на улицу. Погода была плохой, на земле лежал мокрый снег, и сырой ветер пробирал до костей. Все воспринималось только близко к сердцу. И приказ собраться на Пражнской улице, у ворот кладбища, которые открыли только тогда, когда [...] вышли [...] Это было так символично, что пугало, как привидение.

Когда мы приблизились к воротам, ноги перестали нам подчиняться. Ах, как же много значит уголок своего теплого светлого дома, в котором порядок и гармония, где человек чувствует себя свободным и ни от кого не зависимым, где он может делать, что и как ему хочется, может даже понять настроение детей, лежащих в кроватке!



Покой, свобода, отдых, один [...] имеет место, определенный пункт на большом земном шаре. Быть вырванным из дома – значит проститься с жизнью. И тело отказывалось выходить.

У людей было чувство, что закрытые ворота являются границей между жизнью и гибелью, отделяющей светлое прошлое от темного и зловещего будущего. Дом как магнит, он притягивает к себе, действует на вас как волшебство. Каждый уголок близок вашему сердцу, даже дверь, дерево, кирпич – все такое свое, близкое, дорогое. С ними связано так много воспоминаний; они разговаривают без слов, они зовут нас.

Но теперь все пропало! Что можно сделать? Мы выходим, но глаза развернуты назад и все еще смотрят внутрь наших жилищ.

Теперь и лестницы воюют с тобой, не разрешают по ним спускаться. Как тяжело ставить на них ногу...

Оказавшись на улице, семьи держатся друг за друга, чтобы не растеряться в толпе. Каждая семья искала на улице место, где можно было бы всем встать. Темно и тихо, сильная давка не позволяет двигаться. Люди внимательно за всем наблюдают [...], обмениваются взглядами. Все смотрят с большим сочувствием на остальных – тех, кто проходит мимо.

Вот идет семья, которая еще не почувствовала ужас войны. Как же ей тяжело! Вот проходит мать с маленькими детьми: одних она ведет за руку, других держит на руках. Сердце охватывает сочувствие при виде того, как тяжело ей идти с такими ласточками! И еще одна женщина с маленькими детьми, без мужа. Она неработоспособная и ведет своих детей на смерть. Да! Она ведет их прямо на смерть.

Идут сироты, родители которых были убиты, когда они от голода бежали из Варшавы в Рейх. Крестьяне видели, как они блуждали на границе, и привели их в Маков. Кагал<sup>68</sup> и разные люди приняли их. И они такие молодые! Как могут они себе помочь, кто их усыновит? Дети, у которых еще не было в жизни никакой радости – их тоже ведут на смерть.

Дальше идут зрелые, пожилые люди. Куда идут они? – тоже на смерть. Люди, глубоко потрясенные трагедией других людей, идущих мимо них, на мгновение забыли о том, что предстоит им самим.

Дети [...] женщина кричит что-то протяжно и плачет, она входит в комнату. О, мой малыш, нет тебя больше [...] совершенно разбито [...] отвечает мать. Ее глаза наполнились слезами, сердце охвачено страданием. Она хочет посмотреть на своих детей [...] с глубокой болью, но детей уже нет [...] Только сейчас видит она, что от бывших здесь когда-то многочисленных жильцов осталась только маленькая кучка домашней утвари, все инструменты давно в разбойничьих руках, и от всего ее добра остался лишь скромный узелок на спине.

И все это – всего лишь один этап на пути к еще более страшному завтра.

<sup>68</sup> Здесь – еврейская община. Кагала как такового уже не было в это время, но в свое время его деятельность не ограничивалась одними религиозными вопросами. Для даяна, вероятно, кагал оставался метафорой структуры, представительной для всей общины.

## Глава XI Изгнание

Когда наступил день, на улице появились жандармы с обнаженными саблями, резиновыми нагайками и толстыми, тяжелыми прутьями. Они были вооружены с ног до головы. Некоторые из них проверяли открытые еврейские квартиры, чердаки, подвалы и туалеты. Проверjali, не спрятался ли там кто-нибудь. Если находили одиноких старых людей или больных, то сразу убивали. Детей, чтобы не делать этого на улице, выводили в соседнее помещение и там всех вместе убивали. Их отводили в клозет, голову вставляли в очко и так головой вниз и ногами вверх [...] убивали.

Небольшая группа жандармов устроила охоту на евреев и гнала их со всех близлежащих улиц, чтобы собрать в одном месте. При этом сознательно старались навести ужас, били [...] без исключения [...] по головам [...] <...>

Людей загоняли резиновыми нагайками, кнутами и саблями, которыми безостановочно размахивали над головами. [...] до выхода из [...] людей сквозь ворота все больше [...] беспримерно [...]

Возникла такая теснота, что люди даже [...] детей должны были держать наверху [...] поднимались [...] людьми вверх [...] было невозможно. Рюкзаки резали спину [...], словно острые режущие предметы, разыгрывались душераздирающие сцены.

[...] У ворот стояло специальная цепь гестапо и пропускала только по десять человек [...] уже заранее выстроились они по одному в длинный ряд. Якобы, они должны были каждого проверять [...] С обеих сторон стояло по двое бандитов, каждого проходящего они били страшно по голове, с диким и неутолимим садизмом. Кровь брызгала, как из фонтана [...] за дверьми стояли женщины [...] их били и мучили [...] и среди [...] жалкое удовлетворение и [...] через их [...] напирала [...], это пытки или это [...] на земле.

У ворот стоял немецкий гестаповец в штатском и громко кричал о том, что каждый прямо здесь должен отдать все деньги и ценные вещи. Кто не отдаст, тому грозит смерть. При этом он держал в руке револьвер, и люди от страха все бросали перед ним [...] деньги, золото, валюту и т. д., но больше всего кольца и часы [...] Тех, кто не отдавал, били с ужасающей грубостью.

Таким образом, этот и еще один бывший с ним вместе гестаповец, тоже в штатском, набивали себе полные карманы [...] свертками долларов и ценными вещами. Те, кто вышел отсюда невредимым и кому удалось залезть в кузова грузовиков, чувствовали себя так, как будто они вырвались из ада. Когда они залезли на машины, их били нагайками и резиновыми кнутами.

Из-за большой паники многие потеряли своих детей, а дети родителей. Большинство бросали даже свои рюкзаки и свертки, чтобы они не мешали при посадке в ма-

шину, и были счастливы уже тем, что им удавалось посадить в машину своего ребенка. Этому они искренне радовались.

Наконец-то все убедились в том, что немцы не имеют никаких человеческих эмоций. Люди удивлялись, что даже знакомые с ними немцы, которые с помощью посредников скупили у них баснословное количество еврейских драгоценностей и валюты и поэтому нормально с ними общались, бьют их теперь (...) с такой циничной грубостью и страшной жестокостью. Люди начали читать Видуй<sup>69</sup>. Это убийцы, в чьи руки мы попали! Можно себе представить, что еще мы можем от них ожидать! Отчаяние и обреченность судьбе достигли своей кульминации.

[...] Тех, кому удалось, хотя и с большими трудностями, протиснуться на другую сторону, поджидали несколько молодых людей, которые в мгновение ока «грузили» их в грузовики. Но не нормально и удобно подсаживали, а буквально забрасывали туда, сопровождая «посадку» непрерывным и жестоким битьем по голове. Так же грузили и стариков. Каждая погрузка вызывала взрывы их злости и жестокости.

Между группами машин и по обе стороны ехали жандармы. Вылезти с машины, хотя бы и на минуточку по нужде, означало риск быть застреленным. Так ехали мы до половины восьмого вечера.

## Глава XII В Млаве

В Млаве прибытия еврейского населения уже ждала группа жандармов, единственной задачей которых было их бить. После того, как люди слезли с грузовиков, их отвели в специальную отдаленную часть бывшего еврейского гетто, в котором они были размещены по пять-шесть семей в одной комнате.<sup>70</sup>

Единственным облегчением было обращение евреев: евреи, здесь [...] еврейские надзиратели и полицейские, они помогали [...] запутавшимся и испуганным евреям [...] найти дорогу [...] наступившая сплошная темнота сбивала их с толку. У полицейских же были карманные фонари. Они светили людям и вели их к жилью. Когда люди входили в комнаты, их охватывал ужас. Абсолютно все было разграблено. Это было печально. Воровские руки, какое [...] несчастье. Даже постельное белье было снято. Каждая комната являла собой картину разгрома и была просто холодной руиной. Горько было на сердце: значит, так же теперь будут выглядеть и наши брошенные жилища [...]

<...>

<sup>69</sup> Букв.: «Покаяние». Предсмертная покаянная молитва, которую можно читать одному или вместе с другими. Читается в посты, особенно в Йом-Кипур, но некоторые особо религиозные евреи читают ее каждый день и ввели обычай читать «Видуй» перед смертью. Главным в молитве является обращение «Воистину, мы грешили», после чего молящиеся каются в своих грехах.

<sup>70</sup> Из дневника ясно, что 18.11.1942, т.е. в день прибытия еврейского населения из Макова-Мазовецкого в гетто Млавы. Последнее было пустым и разграбленным, а его жители уже депортированы. Для евреев из Макова это был не более чем промежуточный лагерь, в котором формировался транспорт в Аушвиц.

[...] Он распорядился всеми эшелонами из гетто изо всего бецирка Цеханув [...] приближается к нашим рядам. Он прогуливается рядом с двумя жандармами и постоянно зыркает во все стороны. Его глаза сверлят людей со звериной гордостью, они смотрят сверху вниз. Этими глазами он сжирает и заглатывает людей; всех охватывает страх, и их сердца громко-громко стучат. Царит нервное напряжение. А он доволен, когда люди дрожат перед ним от страха, когда они стоят, как окаменевшие или вросшие в землю, когда кровь застывает у них в жилах. Это его идеал. Первым делом выискивает он пожилых домовладельцев, среди которых встречались почтенные люди, всеми уважаемые и заслужившие всеобщий почет. <...>

Их ведут, не дожидаясь конца проверки, в страшный общинный подвал. Их ведут на расстрел. И только теперь у всех этих слепых людей словно короста упала с глаз, и они поняли, как и для чего они живут на этой земле.

Потом выбрали группу людей и основательно их прощупали и проверили, не зашили ли они в свою одежду деньги. У одной девочки нашли в мешочке скромную сумму в 5 марок, которую она спрятала, чтобы купить пару килограмм хлеба. Её убили.

А председатель млавской общины стоял все время на другой стороне тротуара и вместе с группой жандармов и эсэсовцев и наблюдал за всем.

Между тем кричали из рядов [...] вместе с гаоном<sup>71</sup> и сообщали, что их точно повезут в лагерь, чтобы работать и жить и т. д. Но к этому времени вернувшийся назад Поликарт объявил, что все могут расходиться, но чтобы завтра всем собраться на этом же месте, всем – и трудоспособным, и нетрудоспособным. Люди облегченно вздохнули, но [...] пройти мимо жандармов из Млавы само по себе было большой опасностью и угрозой для жизни [...] Пересекали двор, пробираясь между домами [...]

[...] на следующий день все были готовы ко всему. В самых мудрых предположениях невозможно было себе представить [...] среди евреев. Каждый час, каждое мгновение было счастьем, обретенным сокровищем. Но все равно завидовали всем тем, кто еще был на свободе. И когда возвращались, с радостью смотрели на своих любимых: самое главное, что мы еще живы и еще вместе.

Но что делать? Нужно же купить еду [...] Весь город вымер и ликвидирован, а гетто строго изолировано. Население из Млавы [...] уже восемь молодых людей при помощи большой суммы денег были выкуплены из-под временного ареста. Из-за битвы во время посадки и высадки большинство людей лишились своих рюкзаков с хлебом.

Шли в подвалы в поисках картошки, которую потом делили между собой. Из конюшен приносили торф, который там оставался, сами конюшни разобрали на дрова, и так картошкой с солью люди питались в течение нескольких недель. Поликарт, который так идеально себя вел, показался в общине Млава, чтобы напомнить о своих

<sup>71</sup> Гаон (иврит) - ученый, мудрец, почтенный. Слово употреблялось как своего рода почетный титул для раввина.

хороших поступках. Приличная сумма денег, два бриллиантовых кольца и пара мужских золотых часов.

<...>

Настал большой день, когда пришли сборщики, жандармы [...] Всех погнали к вокзалу. Одновременно пришли машины, чтобы подобрать тех, кто не мог ходить [...]. Мы приходим к вокзалу [...] огромная толпа [...] там начали они людей смертельно бить [...] они дико [...] бросались на слабую, беззащитную толпу [...], тяжело вооруженные [...]

<...>

[...] Перед самой смертью больной всегда чувствует себя получше [...] Если немцы и демонстрировали свое лучшее отношение по отношению к евреям, то это было предзнаменованием еще большего несчастья. Были [...] выданы карточки для мармелада [...] тысяча пятьсот или пятьсот были наклеены [...] наблюдение жандармов было ограничено. Утром приехала машина с прицепом [...] поездом вместе [...] Их зарегистрировали, и они получили хлебные карточки в течение ночи на мельнице, утром люди вышли на площадь прямо перед воротами гетто. Спустя много времени появился немец и приказал всех послать назад в квартиры [...] наивные [...] обман, и остались эти люди [...] но он бежал, как быстрый [...] к мельнице, сначала едет [...] машина, нагруженная хлебом и вареньем [...]

Люди сидят на очень темной мельнице, где неописуемо страшная грязь. К тому же все естественные потребности можно справлять только там же, где они сидят. Стоит сильное зловоние, и очень холодно. Дует сильный ветер. Люди сидят не на скамейках, а на своих рюкзаках. Семьи разместились в большой тесноте, один прижат к другому. Усталые дети приникают ближе к родительской груди, но не спят. В некоторых местах этой огромной руины вспыхивают маленькие огоньки. Взрослые от холода все время в движении. Темные тени скользят по стенам. Все сидят или стоят в пальто, готовые к отъезду. Тихо.

Люди сердечно и доверительно разговаривают друг с другом, сбившись в разные группы. Их воображение работает. Оно рисует, в зависимости от настроения, самые разные картины. И только плачущие голоса детей, которые в этом холодном грязном помещении мерзли, страдали от голода, нарушали тишину и подавляли настроение, пока детей не одолел, наконец, сон. Люди чувствовали себя абсолютно беспомощными, невозможно было удовлетворить самые элементарные потребности собственных детей. Безграничный страх гнал людей домой. Цепь сомнений мучила и пугала их. Велись самые разные разговоры.

Мы обдумывали, что могло бы нас ожидать в конце поездки: жизнь или смерть? Возможно ли, что немцы все-таки будут содержать наших жен и детей? Оставят ли они нас в покое и будут ли кормить во время войны?

Наши глаза видели слишком много преступлений, чтобы мы могли в это поверить. Но тогда для чего все это? Только ли для того, чтобы нас изолировать и чтобы мы не смогли выдать никаких государственных тайн, которые наши глаза видели в закрытых гетто Макова?

Или почему они не разрешают нам что-нибудь взять с собой? Живым людям это же положено. И почему не доходят до нас какие-нибудь признаки жизни от варшавских евреев? Очевидцы из Макова были в Белостоке тогда<sup>72</sup>, когда подожгли двадцать улиц вместе с евреями, – и в Слониме, когда всех евреев в семь этапов выгнали из города и расстреляли<sup>73</sup> – и в Легионове, недалеко от Макова: это преступление было совершено в самом городе.

Этой ночью мы едем дальше. Для чего им это нужно?

Мы же бессильны и не способны к защите. У нас даже нет ни одного карабина.

Христиане не смогут даже представить: нам запрещено хотя бы один раз у них переночевать. И для чего вся эта карточная игра с работоспособными и неработоспособными? И к тому же посылают нас с хлебом и вареньем – зачем? Должно такое сильное государство прибегать к столь примитивным средствам?

Неужели возможно, что нет никаких известий от какого-нибудь спекулянта и т.п.? И какие-такие работы могут выполнять такие люди?

С самого начала войны немцы полностью отрезали всех изгнанных ими евреев от остального еврейского мира. Но этот мир существует, и как же возможно, что ни одному известию не удалось просочиться? Если бы мы знали, что они нас ведут на смерть, мы бы сопротивлялись всеми доступными нам способами. Мы бы героически боролись. Тот, у кого были силы, бежал бы и прятался в лесах. Но тогда мы себя опять спрашивали: как же можно зимой бежать с маленькими детьми? Или оставлять детей и спасаться самим? Но тогда для чего и для кого дальше жить? И что делать в случае, если мы позже убедимся, что они нас убьют?..

Эти и подобные разговоры мучили всю ночь наш мозг и наши нервы. Одни считали, что мы и так являемся голодными, измученными, бедными людьми, что в реальности тоже означает неизбежную, мучительную смерть. И что не нужно так быстро покидать это место: что будет, то будет.

Другие – мы же не знаем, что принесет завтрашний день, и не нужно раньше времени быть готовыми умереть. Такие разговоры неустанно пытали нас и мучили расщепленными. Между одной и другой мыслью возникала пауза, и нервы были сильно напряже-

<sup>72</sup> Имеется в виду массовое убийство евреев в Белостоке, оккупированном вермахтом 26 июня 1942 г. 27 июня солдаты, схватив во время облава более 1000 евреев, согнали их в Центральную синагогу и подожгли ее. Спаситься удалось лишь нескольким евреям.

<sup>73</sup> Слоним был оккупирован 25 июня 1941 г. 17 июля немцы арестовали 1200 мужчин-евреев и расстреляли их на окраине города. В августе 1941 г. нацисты согнали евреев Слонима и близлежащих местечек в Слонимское гетто. Около 9000 чел. было уничтожено 14 ноября 1941 г., еще около 10000 – между 29 июня и 15 июля 1942 г., когда питлеровцы окружили гетто и подожгли его. Во время второй акции часть еврейской молодежи оказала героическое сопротивление палачам: около 500 чел. сумели покинуть город и скрыться в лесах, где многие впоследствии присоединились к партизанам. К середине июля 1942 г. в Слониме оставалось лишь около 300 евреев, но и они были уничтожены в декабре 1942 г.

ны. Глубокая серьезность сгибала головы, а глаза были настолько задумчивы, что не замечали происходящего вокруг. Волна сменяющих друг друга картин возникала в сознании. Тяжелые мысли, полные страха о таинственном завтрашнем дне, заполняли голову. Сильнейшее беспокойство и невыносимое нервное напряжение буквально разъедали людей, словно ржавчина. И словно занавес, который скрывает последние минуты.

Люди постоянно напрягали интуицию, чтобы проникнуть в этот полный тайн мир, чтобы прикоснуться к нему, почувствовать и услышать, что происходит за этим занавесом. Слабые, сторбленные люди тихо приближались к разным группам и напрыгали слух, чтобы выхватить отдельные слова. Потом отходили в сторону, дрожа от страха.

Человеческие голоса были такими тихими и дрожащими от возбуждения, что самый их звук лишал покоя. Испуганные глаза блуждали в темноте. Не было ни одного нормального движения. Все было очень нервно. Всё вокруг, весь воздух были охвачены дрожью. Всех охватил страх. Ночная темнота опускается на головы, ощущается давление воздуха и его движение. При любом движении, при любом повороте нам грозит смерть. Атмосфера тяжелая и напряженная. Скоро она взорвется, и все развалится на мелкие части. И не останется ни одного воспоминания о том, что мы пережили или совершили. Сердце постоянно стучит. Это последнее решающее мгновение. Трепетно обнимая друг друга, люди чувствуют некоторое успокоение. Чьи-то руки постоянно касаются детей, прижимают их сильно и страстно к себе.

Задумчиво смотрят они на землю. Мысли улетают и погружаются в мир ужасного страха, несчастья, уничтожения, темного ужаса, дрожи и таинственных видений. Депрессия и безграничное отчаяние проникают в глубочайшие закоулки сердца.

Это была единственная и ужаснейшая из ночей.

## Глава XVII К железной дороге

Когда начало рассветать, людей стали выгонять из мельницы на площадь у ворот гетто. Лежало много снега, и от сырости стыли ноги. Была собачья погода, со всех сторон дул ветер.

Матери медлили выходить с детьми. Всю ночь их мучила мысль, что они должны будут на многие часы оставить детей одних на площади. Но ничто не помогало. Дети, постоянно стонущие и ноющие, медленно двигались к выходу и не решались плакать. Они поняли, что их мамы не смогут им помочь. Искаженные болью и страданием лица родителей, что постоянно наклонялись к ним, чтобы любяще их погладить или о чем-нибудь спросить. Их дрожащие теплые взгляды и горячие поцелуи в головки убеждали в том, что плакать бесполезно.



Наоборот, они вели себя героически: каждое мгновение бросали они печальный испытующий взгляд на родителей, чтобы понять и оценить, как чувствуют себя родители после каждого взгляда. Они старались, чтобы родители не заметили их заплаканных глаз и печальных лиц, чтобы не почувствовали, как сжимались их сердечки. Если они тихо плакали, то отворачивались в сторону.

Остающимся или уезжающим с последней группой, принесли детям поесть что-то горячее. Дети ожили, но ненадолго. Началась другая фаза: они должны были прощаться с родителями.

[...] нет! Соппротивление [...] как будто они были вместе связаны [...] они сжались в один большой запутанный узел. Люди слились и соединились в [...] неделимое целое. Нет! Мы не позволим, чтобы нас разделили! Уже так много у нас отняли, а теперь они хотят оторвать еще больше.

Стена, непроницаемая для человеческого глаза, закрывает собой будущее, наше таинственное завтра. Скоро эта большая [...] завеса упадет, и все прояснится. Оно не будет больше закрыто. Эта налегшая на нас неуверенность, наконец, исчезнет и мы увидим все то, что еще осталось, [...] еще сердце [...] внутри сжато. Люди плакали, жаловались, причитали, стонали. Пройдены различные этапы, пережиты многие схожие события, которые здесь описаны. И так стояли мы на площади до половины одиннадцатого утра, пока не появилась немецкая жандармерия и еще раз не пересчитала всех людей. Применялись самые разные формы вымогательства по отношению к тем, у кого еще могли быть какие-нибудь ценные вещи. В понедельник уезжала следующая партия. Такой же трюк с мельницей и потом изгнание на площадь.

В одиннадцать часов в понедельник появился Поликарт вместе со своими людьми. Всех выстроили рядами, по пять человек в каждом, и повели посередине сквозь [...] и слякоть, так как после прихода немцев с их [...] законами евреям не разрешалось ходить по тротуарам. Мы идем к вокзалу. Немцы подгоняют людей и стараются заставить их держать темп марша, словно они шли на свадьбу. Ноги отказываются служить [...] это не обещает ничего хорошего [...] никому нельзя упасть, все должны идти с одинаковой скоростью. Они мучают их, они тащут их, [...] они не помогают им [...] пока они наполовину [...] измучены и бессильны [...] и только постоянные удары его подручных вынуждают их быстро двигаться вперед, почти бегом, пока они, совершенно обессиленные и обливающиеся потом, не добрались до станции.

[...] на земле, чтобы не [...] перешагнуть. Эти люди почти забыли, как выглядят обычная, обжитая людьми улица. По пути хотелось посмотреть на свободный мир, но подгоняющие крики и преследующие мысли мешали глазам.

Возникла дисгармония: с одной стороны тянется огромная процессия полумертвых людей и едва исчезает. Ползут полуживые люди с коробками на низко опущенных головах. Они идут безотчетно [...] некоторые падают по дороге [...] и общая ошибка. С другой стороны [...] рюкзаки [...] простые, но страшные [...] когда они, наконец,

добрались до станции, на них набросились многочисленные важные гестаповцы и эсэсовцы с большими плетками в руках. Большая масса людей была построена на рампе, вдоль путей. Вагоны еще закрыты. Немцы гонят людей с одного места на другое и страшно их при этом бьют. Возникает [...] Немцы все время кричат, что люди плохо строятся и снова бьют их [...]

[...] наконец, открываются вагоны [...] вместе с людьми [...] В каждый вагон заталкивают столько людей, что в нем совершенно невозможно двигаться. О том, чтобы сесть, нечего и думать, невозможно даже присесть, и можно [...] на каждую ногу, на каждую руку давят много людей; они придавлены и сжаты [...] в таком же положении находятся [...] остальные до вечера следующего дня. Рюкзаки, сваленные в одну кучу, невозможно даже потрогать, не то что взять. Так что невозможно было и подкрепить-ся. [...]

На каждом было надето несколько пар белья и теплая одежда. Было очень тесно и жарко. В воздухе стоял неприятный запах пота. Люди изнывали от страшной жажды, но свежей воды не было. Трудно себе представить, как люди мучились. Сначала товарные вагоны открывались и набивались большим количеством людей. Когда один вагон был полностью утрамбован, его герметически закрывали. Не было ни одного окошка, сквозь которое снаружи мог бы проникнуть воздух. Потом открывали второй вагон и его так же набивали и закрывали. Потом третий и т.д.

Во время посадки людей били по головам, что вызывало искусственную путаницу. Немцам хотелось, чтобы люди потеряли всякую ориентацию. Многие семьи были разделены и посажены в разные вагоны. Два специальных вагона были приготовлены для эсэсовцев и гестаповцев, их охраняли бандиты и опасные преступники. Проблемой, не имеющей решения, было отправление естественных нужд, и это приводило людей в отчаяние. Вскоре на полу стали появляться нечистоты. Люди были страшно измучены. Но у немцев был свой расчет на то, чтобы людей еще до их прибытия на место так мучить и лишать сил. Только позже это станет полностью ясным, но это новое знание мы могли взять с собой только в потусторонний мир. Самым большим желанием, которое у нас тогда было: хоть перед смертью, но выпить хотя бы несколько теплых капель. Дети были полностью оглушены, потому что не выспались; они не могли сесть или, стоя, облокотиться на что-нибудь, и это мешало им заснуть. У них воспалились губы и совершенно пересохло горло.

[...] не могли ничего взять в рот [...] жажда овладела всем, каждый член [...] руки, ноги казались отмершими от усталости и чудовищного напряжения. Кожа и нервы [...] бессильные тела [...]

Сдавленная вместе человеческая масса [...] из-за такой тесноты можно было держать людей [...], как бы висящих в воздухе; это дало им возможность, тридцать часов подряд простоять на ногах. Никаких разговоров, никаких дискуссий по дороге [...] не велось. Все были полумертвые от усталости и изнуренности. Эта теснота наложила на

всех печать усталости, изнурила нас и привела в решительный момент к победе над духом. Единственный раз была открыта дверь вагона, когда вошли два жандарма, которые разрешили женщинам немного попить – в обмен на полученные от них обручальные кольца.

Единственное, что [...] мы достигли – вечером следующего дня прибыли туда, чего так хотели избежать. Поезд остановился в Аушвице. Сразу же мы увидели площадь<sup>74</sup>, кишашую эсэсовцами [...], вооруженными с ног до головы [...].

Специальные посты стояли в разных пунктах и несли караул. Группа еврейских рабочих в тюремной одежде стояла в стороне и ждала<sup>75</sup>. Их было пятеро, выстроенных один за другим. Высокие столбы с частой, плотно натянутой проволокой, через которую был пропущен ток, огибали всю огромную площадь. На каждом столбе была закреплена электрическая лампа, которая очень ярко светила. Высокие столбы, очень часто стоящие, освещали площадь настолько ярко, что их свет слепил глаза и мешал людям думать.

Вначале людей погнали в большой спешке со станции. Рюкзаки и пакеты было запрещено брать с собой. Все, что люди вынесли из вагонов, они должны были сложить в одном месте. Умерших по дороге вытаскивала из вагонов еврейская рабочая команда.

Вызывали женщин, но особенно мужчин и детей. Совершенно оглушенные и пораженные, в спешке, целовали мужчины своих жен и детей, обнимали и прощались с ними. При этом поднялся страшный плач. Эсэсовцы начали гнать толпу вперед; они старались заставить людей двигаться как можно быстрее. В результате многим людям вообще не удалось в последний раз попрощаться со своими самыми близкими и любимыми.

С необычайной серьезностью и [...] терпением они спорили и размышляли вслух о том, в какой именно момент наступит их черед исчезнуть из времени и общемирового пространства. Все это было украдено у отмершей и лишенной уже всех человеческих чувств жизни. Самое лучшее и идеальное было [...] с корнями вырвано. Началась селекция. Мужчины, признанные работоспособными, [...] наоборот, очень быстро пристроили себе детей в длинный ряд.

[...] старые люди, а также [...] особенно молодые, выглядящие здоровыми мужчины [...] старались произвести обманчивое впечатление и убедить в том, что они работоспособные и что могли бы работать. Обе прошедшие селекцию группы мужчин пока стояли и наблюдали [...], как огромные, ярко освещенные автобусы [...] которые ехали с большой скоростью туда и обратно<sup>76</sup>.

<sup>74</sup> Автор имеет в виду грузовой вокзал города Аушвица.

<sup>75</sup> Задачей этой группы заключенных была транспортировка остающегося после селекции багажа новоприбывших узников на склады (так называемая «Канада»).

<sup>76</sup> Людей, которых должны были сразу уничтожить, с ramпы грузового вокзала к газовым камерам обычно перевозили грузовиками. Но в отдельных случаях эти перевозки осуществлялись и в автобусах.

В большом напряжении смотрели мужчины в сторону стоящих рядами женщин и детей. Они двигались; они видят, как они ловко садятся на машины, которые повезут их прямо к уничтожению, что станет ясно позже. На наши вопросы, куда их везут, нам отвечали: - В специальные бараки, в которых они будут жить и где мы с ними каждое воскресенье сможем общаться.

После женщин и детей увезли неработоспособных мужчин [...] Позже мы убедились, что в первой группе насчитывалось четыреста пятьдесят, а во второй пятьсот двадцать пять человек<sup>77</sup>.

Эсэсовцы лагеря повели нас пешком к знаменитому филиалу ада, в лагерь Биркенау. По дороге нам сразу же бросились в глаза натянутые вокруг электрические провода, а также очень яркое освещение. Нас привели во внушающий ужас барак.

Там был толстый, как свинья, разожравшийся блокэльтесте, который сразу же произнес перед нами речь<sup>78</sup>. С особым нажимом он сообщал, что это очень тяжелый лагерь. За любую неточность или непослушание грозит смерть, и некому жаловаться. Прежде всего, нужно научиться прямо стоять с опущенными руками и поднятой головой. На каждую команду «Мютце» нужно дотронуться до шапки рукой, а по команде «дойой» нужно шапку снять, по команде «вверх» шапки надеть. Когда слышишь команду «На работу шагом марш!», нужно аккуратно отступить налево<sup>79</sup>. Дом, жену и детей – забудьте. Два или три месяца здесь, в лагере можно прожить. Только мы евреям и помогаем [...] Война может до этого кончиться. Было бы лучше, если те, кто себе в одежду зашили золото, доллары и т.п., добровольно это отдали. Сейчас будет проводиться большая проверка [...]

Люди должны были стоять на холоде прямо и без шапок. Страх пробирал всех до костей [...]<sup>80</sup>

[...] Так много людей впихнули, сколько было возможно втолкнуть. Трудно себе представить, что в таком маленьком пространстве может поместиться так много людей. Тех, кто не хотел входить, расстреливали или травили собаками. В течение нескольких часов они могли бы из-за недостатка воздуха задохнуться. Затем двери были плотно закрыты и сквозь маленькое отверстие в крыше пущен газ. Находящиеся внутри люди уже не могли ничего сделать. Они только кричали горькими, жалобными голосами. Некоторые отчаянно кричали, другие судорожно всхлипывали – надо всем стоял жуткий плач.

Некоторые читали «Видуй» или кричали «Шма Израел»<sup>81</sup>. Все рвали на себе волосы, кляня себя за такую наивность, что привела их сюда, за эти закрытые двери. Един-

<sup>77</sup> Транспорт с маковскими евреями из Млавы прибыл в Аушвиц 6 декабря 1942 г. Из мужчин селекцию прошли 406 чел., получившие №№ с 80262 до 80667 (Czech, 1989, С.196-107).

<sup>78</sup> Имеется в виду староста блока 13 Серж Шавиньский.

<sup>79</sup> Другие команды звучали так: «Внимание! Шапки долой!», «Шапки надеть», «Рабочую команду собрать».

<sup>80</sup> В этом месте в рукописи – шесть абсолютно нечитаемых страниц (с порядковыми номерами 100-105, согласно пагинации АРМАВ).

<sup>81</sup> «Шма Израел» - молитва, начинающаяся словами «Слушай, Израиль! Господь наш бог, Господь один», занимает центральное место в иудаизме.

ственным средством, остававшимся им для того, чтобы сообщить что-то наружу, - криками, рвущимися к небу, - они выражали свой последний протест против этой огромной исторической несправедливости, при которой с абсолютно невиновными людьми поступили так только потому, что хотели таким страшным образом уничтожить сразу все поколение.

Только во имя удовлетворения дикой жадности [...] этих кровожадных бестий, которые не в состоянии испытать раскаяния за проигранное мировое потрясение, которое они вызвали своим безумным темпераментом, и теперь мстят этому слабому беспомощному элементу. И вот они нашли настоящего мнимого виновника, и чтобы очистить от него мир, совершают чудовищные убийства и жесточайшие преступления. Постепенно голоса слабели, газ заполнял легкие. Наконец, все они погибли.

Крики протеста достигали ушей представителей мрачного мира гестапо и СС, собранных здесь со всей Европы, и несущих еще больший груз моральной ответственности, нежели их угнетающие людей физически руки.

Таким был конец наших близких – вполне еще работоспособных людей, отказавшихся от сопротивления и тешивших себя надеждой, что они и их семьи будут жить. Умирая, они падали – из-за сильной тесноты – один на другого, пока не образовывалась куча из пяти или шести слоев, достигавшая одного метра высоты. Матери остывали на земле в сидячем положении, обнимая своих детей, мужчины умирали, обнимая жен. Часть людей образовала бесформенную массу.

Другие стояли в согнутом положении, нижняя часть тела – стоя, верхняя часть, наоборот, – от живота и вверх – в лежачем положении. Некоторые из людей под воздействием газа посинели, другие выглядели абсолютно свежими, как будто заснули.

Места в бункере хватило не всем, и одну часть оставили в деревянном бараке до одиннадцати часов следующего дня. Утром они слышали отчаянные голоса тех, кого уничтожали газом и сразу поняли, что их ждет.

В течение этой проклятой ночи и первой половины дня они наблюдали за всем и испытали самую ужасную боль, какая только возможна на свете. Кто сам этого не пережил, тот не может иметь даже малейшего представления об этом.

Как я позже узнал, моя жена и мой сын находились в этой же группе. Утром появилась зондеркоманда, которая тогда состояла исключительно из евреев и была поделена на четыре группы. Первая группа шла в бункер, надев на себя газовые маски, и выбрасывала из него мертвые тела. Другая оттаскивала трупы от дверей к рельсам, на которых стояли так называемые лоры – маленькие вагонетки без барьерчиков. Третьи грузили тела в эти вагонетки и тащили их до того места, где<sup>82</sup> была вырыта огромная, широкая и глубокая яма, со всех сторон обложенная бревнами, деревяшками и целыми деревьями. Туда подливали бензин, и адское пламя вырывалось оттуда [...].

<sup>82</sup> Начиная с этого места текст в оригинале – на листках формата № 2.

Там стояла четвертая группа и сбрасывала трупы в огонь. А те горели, пока не превращались в золу.

От всего транспорта осталась маленькая куча обгоревших костей, которые отбросили в сторону. Но даже у этого маленького остатка костей не было покоя. Их выбросили из ямы. [...] Они должны были стать пеплом [...] в землю брошены. На поверхности этой площадки посадили зелень, чтобы не осталось ни малейшего признака той человеческой жизни.

После совершенного преступления убийцы умыли свои кровавые руки.<sup>83</sup> Они тоже [...] загнаны вся команда в яму [...] трагический момент, группу во всем [...] загнали внутрь. И так произошло с ними то же самое, что с другими. Это был конец [...] надежды, с которой [...] адское пламя и был огромный столб дыма. И они бросали их в огонь, пока они полностью не сгорели и не развалились на части. На следующий день остатки еще раз подожгли. От всего транспорта осталась маленькая куча обгоревших костей, которые сложили в стороне от ямы. Позже их выбросили оттуда, разбросали и прикрыли землей, после чего на выровненной поверхности земли посадили деревья. Не должно было остаться ни малейших следов человеческой жизни. Убийцы умывали свои перепачканные кровью руки.

От сжигаемых человеческих тел воздух во всей округе так пропитался запахом жира, что людям<sup>85</sup>, выходящим из машин, сразу же ударял в нос запах жареного мяса.

Безо всякой паузы падали они [...], без малейшего [...]

[...] к такой мощной борьбе, как в Варшаве, этом цветущем центре мирового еврейства, доверились липовому волшебнику [...]

Как же велик наш позор!<sup>86</sup> [...]

<sup>83</sup> В рамках «Акции 1005» по заметанию следов преступлений СС, выкапывались и сжигались в огромных ямах трупы удушенных в бункерах жертв. Человеческий пепел при этом сначала накапливался в специальных траншеях возле этих ям, но позднее он был выкопан и оттуда и убран. Сами ямы после того, как ими перестали пользоваться, были очищены и засыпаны, сверху их накрыли пластинами газонов, тут же были посажены деревья.

<sup>84</sup> По всей видимости, имеется в виду уничтожение членов первого состава зондеркомандо в Биркенау, состоявшееся в начале декабря 1942 г.

<sup>85</sup> Начиная с этого места текст в оригинале – на листках формата № 3.

<sup>86</sup> Этими словами заканчиваются поддающиеся хоть какому-то прочтению записи, сделанные на втором, отдельном листе формата № 3, вложенном в записную книжку.

## Leib Langfus: Eviction

Memories of Leib Langfus, a dayan from Maków Mazowiecki, is a valuable historical material. The published material reveals some episodes of Jewish extermination and eviction from Maków Mazowiecki to Auschwitz Birkenau. Leib Langfus died in Auschwitz and witnessed the terrible events of 1941 and 1942. His memories are the vivid example of Nazi crimes against Jewish people during the Second World War. This publication complements the material for the study of the Shoah in the Central and Eastern Europe.